

Евгений
Попов

**Ресторан
«Березка»**

А вот еще
история.
Про козлов.
И баранов.
И коммунистов.
И город К.,
стоящий
на великой
сибирской
реке Е.,
впадающей
в Ледовитый
океан

АСТ



Евгений Анатольевич Попов

Ресторан «Березка» (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=248512

Евгений Попов Ресторан «Березка»: АСТ, Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-054534-6, 978-5-271-23555-9

Аннотация

«Ресторан “Березка”» – книга повестей Евгения Попова о том времени, когда вся огромная страна жаждала перемен и не верила в них, полагая, что завтра будет то же, что вчера. Любимые читателем тексты дополнены современными оригинальными авторскими комментариями, где он высветляет темные места, называет реальных прототипов героев и вспоминает ушедших друзей.

Содержание

Люди остаются людьми	5
Накануне накануне	8
I	8
II	12
III	15
IV	18
V	23
VI	27
VII	31
VIII	36
IX	41
X	45
XI	51
XII	56
XIII	60
XIV	64
XV	69
XVI	76
XVII	80
XVIII	83
XIX	86
XX	89
XXI	92

XXII	95
XXIII	100
XXIV	104
XXV	108
XXVI	113
XXVII	117
XXVIII	120
XXIX	123
XXX	128
XXXI	132
XXXII	135
XXXIII	139
XXXIV	145
XXXV	157
XXXVI	167
Конец ознакомительного фрагмента.	178

Евгений Попов

Ресторан «Березка»

Люди остаются людьми

Обращение к читателям

Дорогие читатели, первые два тома неразлучной троицы моих «АСТовских» книг состояли из коротких рассказов о той лихой и горькой, занудной и веселой, отвратной и превосходной жизни в нашем прежнем таинственном царстве-государстве, которое накрылось в 1991 году медным тазом. А в этом томе собраны мои странные сочинения того странного времени, когда вся огромная страна жаждала перемен и не верила в них, полагая, что завтра будет то же, что вчера. Что «царствию Ленина не будет конца», как выразился горбун-самоубийца в одном из антисоветских рассказов Ивана Бунина, и мы вечно будем шагать под красным знаменем неизвестно куда. Смятенный стиль этих объемных текстов, робкие попытки автора и его персонажей заглянуть в будущее могут выглядеть сейчас смешно и наивно, но я бы не спешил с выводами.

Конечно же, конечно – новая жизнь окончательно вошла в наши крутые берега, всё у нас вроде бы по-другому, однако

«связь времен» все же не распалась окончательно и бесповоротно, как у принца Гамлета. Солнце по-прежнему всходит и заходит. Волга все еще впадает в Каспийское море. Люди по-прежнему остаются людьми: праведники – праведниками, дураки – дураками, мерзавцы – мерзавцами, честняги – честнягами. Любовь / кровь – все еще самая актуальная рифма.

И все же ясно, что отдельные фразы, намеки, иносказания прежних лет требуют теперь пояснений и комментариев. Выросло новое поколение читателей, которым слово «мерчендайзер» более понятно, чем «парторг», а «тимбилдинг» ближе, чем процесс сдачи пустой винной посуды в ларек с целью опохмелки. Недоступны «русским европейцам» и определенные слова «сибирского русского», на котором иной раз изъясняются мои персонажи.

Кроме того, я снова впускаю вас на свою писательскую кухню, приводя в своих комментариях конкретные примеры того, как создается аппетитное (или наоборот) варево художественной прозы. Раскрываю псевдонимы, высветляю «темные места», называю реальных прототипов своих выдуманных героев, вспоминаю ушедших друзей, которым и посвящены все эти три тома.

Жизнь идет и проходит, жители все еще огромной страны таинственны, загадочны, себе на уме. Тогда они делали вид, что верят в коммунизм, сейчас делают вид, что строят капитализм. Я не знаю четкого ответа на вопрос, хорошо это или

плохо, ибо сие – тайна, которую я пытаюсь разгадать во всех своих книгах, включая ту, которую вы держите в руках.

До новых встреч. Приятного вам чтения. И храни вас всех Бог.

Ваш Евгений Попов 2009

Накануне накануне

Роман персонажа романа, написанного персонажем романа

*Минометчик, дай мне мину,
Я ее ... задвину.
Если вдруг война начнется,
Враг на mine подорвется...*
Советское, народное

I

В тени развесистой липы, на берегу Штарнбергерзее, недалеко от Мюнхена, в один из самых жарких дней неизвестно какого года лежали на траве два не совсем молодых человека.

Один, пролетарского на вид происхождения, облагороженного хорошим питанием, славно скроенный, хорошо сбитый, с едва заметно выпирающим пузцом и громадным родимым пятном во всю щеку, лежал на спине со сдержанной улыбкой на пухлых губах и задумчиво глядел в светлую даль, слегка прищурив свои выпуклые глазки.

Другой по сравнению с ним казался совсем дедушкой, похожим на хорька, и никто бы не подумал, глядя на его лысую

голову и лицо, украшенное рыжеватой бородкой, что это тоже нормальный человек. Он лежал в неловкой позе эмбриона, и это, очевидно, нравилось ему, отчего на лице его блуждала добрая идиотическая улыбка, а лоб был испещрен морщинами нелегкой мысли. Звали его Владимиром Лукичом, а товарищ его, откормленный пролетарий, носил гордое имя Михаила Сидоровича.

– Отчего ты не глядишь, как я, в светлую даль? – начал Михаил Сидорович. – Так гораздо лучше: укрепляет зрение, оптимизм, потенцию.

– Уже глядел, – угрюмо отозвался Владимир Лукич. – И не нахожу в этом чего-либо чересчур хорошего.

– Эх ты, шакал, – брякнул Михаил Сидорович и пригнул голову в ожидании словесного или физического удара по голове.

Но удара не последовало, и он, одобренный таким несомненным успехом своей фразы, зачистил:

– А ты – страшный, страшный, Володька, не приведи господь спорить с тобой.

– Вот то-то же, – снисходительно отозвался Лукич, и приятели вновь надолго замолчали, пока одного из них, а именно Мишу, не укусила кровососущая муха.

– Нецензурный случай! – добродушно выругался этот добряк и баловень женщин, обратив к приятелю свое чуть капризное лицо, но тот, оказывается, уже давно говорил совершенно на другую тему, чем мухи.

– Любовь – это великое слово, великое чувство. Особенно первая любовь. Кто испытал первую любовь, тому трудно забыть ее, она возбуждает в нас такие же странные чувства, как окружающая природа, социум, борьба классов, полов.

– Да ты, брат, я вижу, умница, философ, не зря окончил Казанский университет, – рассмеялся Михаил Сидорович, но тут же посерьезнел и добавил: – Ты совершенно прав, Володя, любовь, жизнь, смерть – вот те три кита, на которых держится человечество.

– Но любовь выше всего, – упрямо продолжал Владимир Лукич. – Поверь мне, Миша, ведь я знаю, что говорю. Ты знаешь, я был участником и демиургом таких кровавых событий, что меня требуется вечно жарить в аду на сковородке, и вот я, грешник, говорю тебе – любовь, мечта.

– Ты имеешь в виду Русю, когда говоришь о любви? – тихо спросил Михаил Сидорович.

Владимир Лукич вспыхнул.

– Зачем так буквально! – резко остановил он кажущегося ему развязным собеседника. – Ведь я говорю не о любви-наслаждении, а о любви-жертве. Руся – это жертва, и ты увидишь, что она сама себя принесет в жертву.

Оба приятеля помолчали.

– А я на днях опять встретил Инсанахорова, и он очень хорошо о тебе отозвался. – Этой фразой Владимир Лукич, казалось, пытался смягчить свою резкость и «умаслить» собеседника.

– Какой это Инсанахоров? Ах да, этот татарин со значком нобелевского лауреата, о котором ты мне говорил? Диссидент этот. Уж не он ли внушил тебе эти «философские» мысли? – скривился Михаил Сидорыч.

– Вполне может быть, – сухо ответил Лукич.

– А что же в нем еще замечательного, кроме того, что он изобрел мину?

– Увидишь, – лаконично ответил Владимир Лукич. – Который час-то? Третий. Пойдем. Как душно!..

– А мне этот разговор всю кровь зажег. Признайся, занимает тебя эта женщина? Хочешь ее трахнуть? – Михаил Сидорыч пытался заглянуть в лицо Владимиру Лукичу, но тот отвернулся и вышел из-под липы.

Он двигался неуклюже, как на ходулях, временами поскрипывая сочленениями своего многолетнего тела. Михаил Сидорыч, включив вторую скорость, катился за ним колом. А Владимир Лукич хоть и производил иногда впечатление полного мудака, но внешне казался более *патриотом*, чем его *товарищ*, употребили бы мы эти два хороших слова, если бы они не были так обезображены в СССР советской пропагандой.

II

Два не совсем молодых человека спустились к Штарнбергерзее и пошли вдоль берега этого самого крупного в Германии озера. От воды веяло свежестью, тихий плеск немецких волн ласкал слух. С роскошной виллы, расположенной где-то на противоположном берегу, доносилось хоровое пение песен «Катюша» и «Вперед, заре навстречу».

– Клинт гуляет, – заметил Михаил Сидорыч. – Представляешь, Хоннекер спер деньги у немецкого народа, а казначей Клинт – у Хоннекера. Хоннекер укрылся неизвестно где, этот – здесь. Никто ничего не может доказать, все только поют.

– Да, встречаются еще у нас нечестные партийцы... – Владимир Лукич испытующе посмотрел на друга. – А где, кстати, деньги, которые тебе выдала мировая буржуазия в лице Анны Романовны на теоретическое обоснование контрреволюции в СССР?

– И не стыдно тебе, Владимир Лукич, упрекать меня, когда я и без того горько раскаиваюсь, – вспыхнул, как порох, Михаил Сидорыч. – Да, я просадил эти деньги во время прошлого октоберфеста в окрестных биргартенах, но зато какие типы людей я там увидел! Это замечательные типы, глядя на них, можно теоретически обосновать несколько контрреволюций в СССР, сменяющих одна другую.

– «Сменяющих одна другую», – иронически, со смыслом процитировал приятеля Владимир Лукич. – Это скорее относится к девкам с мюнхенской Шиллерштрассе, которые известны тебе лучше, чем ты им.

– А что же я, пингвин морской, без крыльев? – расхохотался Михаил Сидорыч, видя, что суровость его товарища явно напускная. – Мне душно здесь, я, я в СССР хочу, – добавил он почти серьезно. – Там рощи, поля, там сейчас застой, а хорошо бы сделать перестройку.

– Говнюк ты, Миша, как на тебя сердиться, – махнул рукой Лукич.

Внезапно дорогу преградила им какая-то баба и заговорила с явным, хотя и нарочитым, еврейским акцентом:

– Что же это вы, господа, обедать не идете? Стол уже давно накрыт, и бульон на месте.

– Что я слышу? Бульон... И конечно же, жирненькая курочка в нем томится?

– Ах, перестаньте, Михаил Сидорович, отпускать ваши казарменные, антисемитские остроты, а то я рассержусь да как трахну вас палкой по голове!

Баба топнула ножкой и плюнула ему в морду. Михаил Сидорыч тоже плюнул ей в морду. Они оба утерлись, после чего заговорили уже спокойнее.

– Руся тоже хотела идти со мною, чтобы звать вас, да испугалась жары и осталась в саду. Ну их, говорит, к свиньям собачьим, сами придут, когда жрать захотят. А я все-таки

пошла. Идемте, идемте, господа! – повторила она и двинулась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица. Приятели отправились вслед за нею.

– Хороша, стервь! – восхищенно отозвался о красавице бабе Михаил Сидорыч, но Владимир Лукич так пихнул его локтем, что тот охнул и захлебнулся горячим летним воздухом.

– Сарра, Миша, Володя! Обе-да-ть!.. – донеслось из-за деревьев.

...Молодая девушка с бледным выразительным лицом молча поднялась со скамейки сада.

...Дородная дама в летнем джинсовом костюме, подняв над головой американский летний солнцезащитный зонтик, стояла на пороге, улыбаясь томно и вяло.

...Ростовой портрет военного виднелся в прохладной глубине летнего барского дома.

Пришли.

III

Анна Романовна, урожденная Рюрик, рано осталась круглой сиротой и наследницей значительных капиталов, вложенных в оружейную промышленность разных стран и нефтяные разработки на Аляске. Ее будущий муж, Николай и тоже – Романович, завоевал богатую сироту тем, что прямо сказал ей в лицо при первой встрече, что является натуральным русским царем из династии Романовых. А когда Анна Романовна робко возразила ему, что по достоверным сведениям все царское семейство было расстреляно в городе Екатеринбурге, носящем ныне имя какого-то советского комиссара, Николай Романович только многозначительно расхохотался в ответ, отчего она полюбила его пылко, искренне, навсегда.

Николай Романович порядочно говорил по-немецки и по-английски, любил водку, пирожки с рубленным яйцом и зеленым луком. В жизни его действительно была какая-то тайна, в этом были уверены все, кто его хоть немного знал, но тайну эту он оберегал тщательнее всего на свете и настолько искусно, что иногда казалось, будто этой тайны и вовсе нет. Родственников у него в обозримом пространстве не имелось, хотя он иногда намекал в высшем обществе, что у него есть внук, писатель, живущий в СССР на Байкале в одинокой избушке, скрываясь от коммунистов. «Да я и сам, почитай, си-

бирский глобтроттер», – иногда хвастался под хмельком Николай Романович, ничуть не смущаясь тем, что это заявление никак не совпадает с предъявленными им будущей жене биографическими данными и реликвией – плюшевым мишкой, внутри которого, по утверждению Николая Романовича, когда-то был зашит царский бриллиант.

Ему и верили и не верили. Должно сознаться, что многим лицам из нашей публики такого рода улики казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми. Николай Романович любил кататься на машине «вольво», а постарев, завел себе любовницу-немку, такую же дуру, как и он сам, которая называла его в письмах к своей кузине Еве «майн думпкопф». Милые люди! Я их всех люблю!

А сама Анна Романовна была маленькая, худенькая женщина с правильными чертами лица, склонная к волнению и грусти. Она любила романы Франсуазы Саган, несколько раз пыталась штудировать труды Фрейда и Юнга и «новую женскую прозу», поступающую из СССР, но с рождением Руси все это бросила и отдалась целиком домашнему хозяйству и созерцанию мира в ключе восточных религий, о которых она, как и о многом другом, не имела ни малейшего понятия. Но тут вышла закавыка. Эта религия запрещала ей иметь постоянные половые отношения с Николаем Романовичем, отчего он, обозленный ее «холодностью», и стал развлекаться на стороне.

Вот так хорошие идеи губят хороших людей, разрушают

семейное счастье! Неверность мужа очень огорчала Анну Романовну, и она жаловалась на него всем знакомым и близким, даже дочери. Но в принципе ей было на это наплевать, с ней была ее религия, ее милая Руся, а также легкое искристое рейнское вино, до которого она была большая охотница. Кроме того, она часами играла на клавесине и переписывалась через посредников с «новыми писательницами», живущими в Москве.

Михаил Сидорыч приходился ей троюродным племянником. Отец его, паровозный машинист, растратил на бегах казенные деньги и был вынужден покончить жизнь самоубийством, мать, финская феминистка, умирая от купленной по дешевке у русских спекулянтов метиловой водки, перед смертью упростила Анну Романовну взять мальчика к себе на руки и вырастить его настоящим человеком. Ему шел тогда семнадцатый год, и казалось, вся жизнь у него будет впереди. Так и оказалось. Он не закончил университета, но был очень умный, подавал большие надежды, переписывался со Зденеком Млынаржем, деятелем коммунистической «пражской весны».

IV

– Пойдемте же все кушать, пойдемте, пока не остыло, – проговорила жалостным тоном хозяйка, и все отправились в столовую. – Сядьте подле меня, Сарра, – промолвила Анна Романовна, – ты, Руся, займи гостя, а ты, Михаэль, пожалуйста, не шали и не дразни Сарру. У меня голова болит сегодня.

Михаил Сидорыч сделал неувловимый, но неприличный жест. Сарра ответила ему полуулыбкой. Эта Сарра, или, точнее говоря, Софья Игнатьевна, круглая сирота русского происхождения, была заочной приемной дочерью видных еврейских отказников, томящихся в Москве и храбро борющихся с властями за право выезда на историческую родину в государство Израиль. Софья Игнатьевна, сочувствовавшая свободе с детских лет, объявила их своими приемными родителями и теперь требовала воссоединения с ними. Эта история попала в газеты, на радио «Свобода», «Немецкая волна» и «Голос Америки», где девушка выступала с трогательными рассказами о тоске по невидимым родителям. Анна Романовна взяла ее в компаньонки к своей дочери, чтобы воспитывать последнюю в интернациональном духе. Руся, поклонница Николая Бердяева, Николая Федорова и Николая Гоголя, на это не жаловалась, но решительно не знала, о чем говорить с Саррой, когда ей случалось остаться с ней наедине. Они тогда просто курили и играли в карты «по маленькой».

Обед продолжался довольно долго. Владимир Лукич разговаривал с Русей о своих планах, намерениях и надеждах на то, что все будет хорошо. Михаил Сидорыч, съев первое, второе и третье, продолжил с Саррой свою веселую игру «на грани пристойности», а Сарра отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой.

Когда все покушали, то Руся, Михаил Сидорыч и Владимир Лукич отправились гулять.

А Сарру они с собой не взяли, и она села за фортепиано.

– Что вам сыграть, уважаемая? – спросила она Анну Романовну.

– Сыграй мне «Мой отец в борьбе с врагами жизнь свою отдал». – Анна Романовна опустила в кресла, и слеза на вернулась на ее ресницу.

А между тем Руся повела обоих приятелей в укромную беседку из акаций, с деревянным столиком посередине, угостила их водкой и приступила к допросу.

– Итак, вы опять желаете быть вождем угнетенного человечества? – спросила она Владимира Лукича.

– Да, – не возразил тот, втискивая между колен свои красные руки. – Это – моя любимая мечта. Конечно, я теперь очень хорошо знаю все, чего недоставало мне, чтобы стать подлинно достойным такого высокого звания, потому что в прежней своей жизни я уже был однажды вождем и ничего хорошего из этого не получилось, но теперь... теперь, надеюсь, я буду лучше подготовлен.

– Он уже теперь снова силен, как черт, – грубо заметил Михаил Сидорыч, наливая себе еще, но его никто не слушал.

– И вы будете вполне довольны вашим положением? – Руся, подпершись кулачком, глядела Владимиру Лукичу прямо в его косые глаза.

– Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением. Сколько, однако, дров снова наломает... Покойный батюшка еще очень давно благословил меня на это дело. А смущение... смущение происходит лишь от моей нечеловеческой скромности.

– Говорят, ваш покойный батюшка оставил замечательное сочинение в рукописи. Это правда? – продолжала допрос Руся.

– Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Руся Николаевна, и его, и его, сочинение, если бы отнесли к ним обоим безо всякого предубеждения.

– Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

– Содержание этого сочинения, Руся Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, он употреблял выражения не всегда ясные. Там всюду показан механизм ограбления трудового народа, особенно африканского и советского, империалистами всех мастей и наименований. Один известный советский режиссер, его звали Сергей, хотел поставить сочинение моего отца в кино, назвав его попросту «Капитал», но пользуясь творческим методом потока сознания, открытым Джеймсом

Джойсом, автором великого «Улисса». Однако злодей Сталин, пробравшийся к власти в СССР, убил за это Сергея, запретил в СССР Джойса и извратил учение моего отца, равно как и мое. Отец говорил мне тогда, что нам следовало бы иметь дело только с Львом Троцким, но я был так доверчив, так доверчив, почти как отец...

– Сталын, говоришь, кацо? А ну, давай спляшым в честь вождя горскую лезгинку! – Михаил Сидорыч вскочил было и принялся выделывать уморительные, шаржированные па.

– Перестаньте паясничать! – вдруг резко остановила его Руся. – Это неуместно, когда речь идет о судьбе нашей многострадальной родины.

– Ах, паясничать!.. Вы... вы, значит, ученые, а я, по-вашему, – фофан обтруханый? – Губы Михаила Сидорыча задрожали, потому что водочная бутылка была уже совсем пустая. – Прощайте! А я иду топиться в Штарнбергском озере. Весь Фелдафинг, весь Мюнхен будут говорить обо мне!..

– Дитя, – проговорила Руся, поглядев ему вслед.

– Глуп, как пробка, но, по сути, дельный товарищ, – промолвил с тихой улыбкой Владимир Лукич. – Как и все коммунисты, – добавил он.

– А вы... вы коммунист? – расширенными глазами глядела на него Руся.

– Каждый человек в душе коммунист, как каждый человек в душе хоть немного, но верит в Бога. Идемте, я разовью эту мысль, если нам это позволят пространство и время.

Владимир Лукич взял руку Руси и пошел с ней по саду, но начатый разговор о коммунистах, слишком рано прерванный, не возобновился. Владимир Лукич снова принялся излагать ей свои воззрения на будущую деятельность в роли вождя угнетенного человечества. Руся слушала его внимательно и не отводила взора от слегка пожелтевшего лица Владимира Лукича с оскаленными клыками. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то выросло в нем.

V

Михаил Сидорыч, конечно же, раздумал топиться, но все же не выходил из своей комнаты до самой ночи.

Уже забелел Млечный Путь и молодой месяц засиял, когда, простившись с Русей, Владимир Лукич показал месяцу три металлические дойчемарки «для прибытку» и постучал в дверь своего приятеля.

– Кто там? – раздался голос Михаила Сидорыча.

– Я, – ответил Владимир Лукич.

– Пошел вон, красная свинья, убийца трудового народа, – зашипел Михаил Сидорыч.

– Впусти меня, Миша, полно капризничать, как не стыдно!

– А я не капризничая, считай, что я сплю и обругал тебя во сне, азиатская твоя рожа!

Владимир Лукич пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно все кругом прислушивалось и караулило Владимира Лукича, как в ссылке. Всю душу его занял образ молодой девушки, он припоминал ее слова и свои ответы, находя некоторые из них очень удачными.

Топот быстрых шагов почудился сзади. Он отступил в кусты и сжал в кармане рукоятку газового пистолета. Внезапно, весь бледный при свете луны, на тропинке появился Ми-

хаил Сидорыч с дворницким топором, который он неловко держал в руках.

Увидев Владимира Лукича, он бросил топор, сел на пенек и зарыдал.

– Ты чего плачешь, Миша? – погладил его по голове Владимир Лукич. – Из-за каких пустяков?

– Вот как ты выражаешься, пидар! – еще горше зарыдал Михаил Сидорыч. – Что я... что... Думай обо мне, что хочешь, но я влюблен в Русю.

– Ты влюблен в Русю? – Владимир Лукич перестал его гладить по загривку.

– Это тебя удивляет? – Михаил Сидорыч прекратил рыдать и зорко поглядел на него. – Скажу тебе больше, Володя. До нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит, но сегодня я убедился, что мне больше не обломится. Она полюбила другого!

– Другого? Кого же?..

– Те... те... тебя, – Михаил Сидорыч снова заплакал.

– Что за вздор ты мелешь, право, стыдно слушать, Миша, – с досадой пробормотал Владимир Лукич. – Девушка просто хотела узнать основы моего учения.

– Знаю я твое блядское учение! Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по вкусу, потому что бабы любят мерзавцев, только их и любят.

И он снова ухватился за топор. Взял топор в руки, примерился и... с силой вонзил его острое лезвие в остов высокой

сосны, расположенной перед ними.

– Не губи дерево! – крикнул ему Владимир Лукич, уходя.

– И то верно, а то еще оштрафуют марок на двести-триста, – захохотал Михаил Сидорыч, после чего, обмотав лезвие топора красным фуляровым платком, направился обратно к себе на дачу.

А Владимир Лукич поднялся по скрипучей лестнице в свою скромную просторную комнату на вилле Вальдберта и высунул плешивую голову в окно. Светило ночное светило. Около озера Михаил Сидорыч уже обжимался с какой-то девкой. Жизнь была удивительно хороша и наполнена.

На глаза Владимира Лукича навернулись слезы. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке и поэтому всегда возил с собой баян, не новый, но с мягким, хоть и не совсем чистым тоном.

Владимир Лукич взял его в руки, развел меха, нажал кнопки.

Послышалось что-то печальное – не то из «Жизни за царя» композитора Глинки, не то из «Жизни с идиотом» композитора Шнитке.

– «Удивительная, нечеловеческая музыка», – пробормотал Владимир Лукич, мучительно вспоминая, откуда он знает эти слова.

Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их, он проливал их в темноте. «Прав Мишка, – думал он, – прав, сукин сын. Влюблен... Влюб-

лена...» Наконец он встал, зажег лампу, накинул халат, достал с полки «Происхождение партократии» Авторханова – и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

VI

Между тем Руся вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у нее в привычку, если, конечно, не было комаров. Она беседовала сама с собой в это время, отдавала себе отчет о протекшем дне.

Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была более чем высокого, лицо имела бледное, имелись у нее также большие голубые глаза, лоб, нос, рот и подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на крепкую загорелую шею. Во всем ее существе было что-то нервическое, порывистое и торопливое, особенно в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном и изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, что не могло всем нравиться и даже отталкивало иных. Она росла очень странно: сперва обожала отца, монархию, потом страстно привязалась к матери, американизировалась, космополитизировалась, много говорила о «правах человека». Последнее время она во многом разочаровалась. Родители казались ей выжившими из ума кретинами, хотя по долгу дочерней привязанности она до сих пор отдавала им ритуальную дань хорошего обращения и внешней почтительности. Америка отвратила девушку тем, что во время ее краткого

визита за океан ее пытался изнасиловать пуэрто-риканский подросток. Европу она любила, но Европа казалась ей теплым разношенным башмаком, в котором так уютно ступать ее маленькой ножке, но где уже давно воняет носками. Все впечатления резко ложились в ее душу, но легко давалась ей жизнь, и она все чаще думала о своей исторической родине, загадочной России, которую проглотили и все никак не могут переварить большевики.

Гувернантка, которую Анна Романовна взяла ей, была из советских, дочь какого-то крупного взяточника, погибшего во время сталинских репрессий, существо доброе, лживое и распутное, закончившее свою жизнь в качестве содержательницы притона в Гамбурге. Гувернантка очень любила литературу, сама пописывала стишки, приохотила и Русю к чтению книг «идейно ущербного и клеветнического содержания» (такowymi числили коммунисты бесценные произведения Аксенова, Бродского, Солженицына и других классиков современной литературы). Однако одно только чтение не удовлетворяло Русю, она с детства жаждала деятельности, деятельного добра, но не видела кругом той тучной почвы, на которую могло бы упасть семя этого добра, а находила кругом один лишь скальный грунт, перемежаемый супесями и песчаниками.

С детства она принимала заочное участие в пожертвованиях всем притесняемым из России, будь то еврей-отказники, хорошие коммунисты или члены русских патриотиче-

ских движений. Родители не мешали ей, зато очень негодовали за это, как они выражались, «нежничанье», уверяя, что России больше уже давно нет, а советские сами во всем виноваты, ибо погрязли в грехе, а руки у них у всех без исключения в крови, что все они повязаны кровью, хотя в пример приводили лишь эпизоды из романа Достоевского «Бесы».

Однажды она пришла домой с пением песни «Будь проклята ты, Колыма», ее строго наказали, но, как ни допытывались родители, «откуда она взяла эту мерзость», она так и не выдала нищего мальчика Юру, который эмигрировал в Германию из Рыбинска и хотел всего себя посвятить просвещению Запада в отношении того, что творится в России, но его выкрало КГБ и увезло обратно в Рыбинск.

А годы шли да шли; как подпочвенные воды или месячные протекала молодость Руси, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе, тревоге. Ее душа билась, как птица в клетке. Жизнь казалась ей не то бессмысленной, не то непонятной. «Нельзя жить без любви, а любви моей никто не достоин!» – думала девушка, и страшно ей становилось от этих дум, этих ощущений до того, что в возрасте восемнадцати лет она чуть было не умерла от злокачественной лихорадки, еле выходили, но она стала совсем нервная. Иногда ей приходило в голову, что она обладает *знанием*, ведает что-то, чего никто не ведает, о чем никто не мыслит ни в бывшей России, ни в нынешнем СССР, и тогда что-то сильное, безмянное, с чем она совладать не умела, так и закипало в ней,

так и просилось вырваться наружу.

В тот день, с которого начался наш роман, Руся всю ночь не отходила от окна. Она много думала о Владимире Лукиче, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений быть вождем угнетенного человечества. Он никогда еще не говорил с ней так пылко, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его странных глаз, его обезьяньи ужимки – и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно, где месяц сиял, как новорожденный или как советский человек, ни за хрен собачий получивший орден.

Вдруг обостренный слух ее уловил далекие звуки баяна. Она встрепенулась, быстро сорвала с себя всю свою одежду, протянула к нему, этому небу, свои обнаженные похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своей постелью, прижалась к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаваться нахлынувшему на нее чувству, поддавалась этому чувству. После чего заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Владимир Лукич сел в S-бан и направился в Мюнхен. Ему нужно было получить деньги на радио «Свобода», украсть в библиотеке книгу, да, кстати, ему хотелось повидаться с Инсанахоровым и переговорить с ним. Владимиру Лукичу во время последней беседы с Михаилом Сидорычем пришла мысль пригласить Инсанахорова к себе на виллу Вальдберта. Он не скоро отыскал его: соблюдая конспирацию, тот часто менял квартиры, с прежней своей на Терезиной аллее он переехал на другую, где-то на Имплерштрассе, до которой добраться было нелегко, пришлось снова ехать на трамвае через весь город, хорошо, что у Владимира Лукича была «грюнекарта», и ему наново не пришлось платить за проезд.

Инсанахоров занимал комнату в квартире известной славистки, знаменитой переводчицы с русского. Роза Вольфовна, или Белая Роза, как звали славистку друзья, в описываемый момент уехала путешествовать по СССР, чтобы на практике еще лучше понять умом эту страну, которую она полюбила всем сердцем. Комната была большая, почти совсем пустая, с темно-зелеными стенами, тремя готическими окнами, раскладным диваном в одном углу и громадной клеткой, подвешенной под потолок. В этой клетке когда-то жила обезьяна, но ее украли.

У Инсанахорова на полу, подоконнике, диване, в клетке – везде были разложены какие-то рукописи, прокламация, листовки, но он встал навстречу Владимиру Лукичу и стиснул ему руку в знак приветствия.

– Бардак у меня, – просто объяснял Инсанахоров, указывая на бумаги. – Некогда было еще разобрать, все думаю.

Злоязычный Михаил Сидорыч зря назвал его татаринном. Инсанахоров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово, и это неудивительно. Ведь он вовсе не был татаринном, а он татар просто очень сильно любил, много о них писал, думал, отводя им значительное место в государственном устройстве России, его печальной родины. Однако всем известно, что предмет занятий оказывает свое необратимое влияние на занимающегося: Инсанахоров, совсем еще молодой человек, худощавый и жилистый, с впалой грудью, черты лица стал иметь резкие, нос с горбинкой, иссиня-черные его прямые волосы уже немного поседели. Одет он был бедно, но чисто.

– Вы зачем с вашей прежней квартиры съехали? – спросил его Владимир Лукич, чтобы с чего-то начать разговор.

– А то вы сами не догадываетесь, – грустно улыбнулся собеседник.

– Да ведь теперь лето, жара. Охота вам париться в этом каменном мешке? Вот Клинт деньги украл у коммунистов, живет у нас на Штарнбергерзее и ничего не боится, а вы же – светлая личность, известная всему миру.

– Вот то-то и оно, что всему миру, – пробормотал Инсанахоров в ответ на это замечание и предложил Владимиру Лукичу жевательную резинку, примолвив: – Извините, папирос, сигарет, водки, пива не имею.

Владимир Лукич взял резинку и принялся ее жевать.

– А вот я, – сказал он, – тоже живу на Штарнбергерзее, и вы не поверите, как это дешево и удобно: пять минут до пригородного поезда, S-бан по-местному, полчаса – и вы в центре Мюнхена, еще пять минут – и вы на радио «Свобода». Хотите на время поместиться у меня?

Инсанахоров вскинул на него свои небольшие глазки, скрытые под бровями.

– Вы предлагаете мне жить у вас на даче?

– Предлагаю. У меня три комнаты, вы будете жить в одной. К тому же в двух шагах от меня помещается в собственном барском доме русскоязычное семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудесная русская девушка, если бы вы знали, Инсанахоров! Там также живет один мой близкий приятель, Михаил Сидорыч, он много думает о грядущей перестройке в СССР. Да я и сам, вы знаете, не чужд... занимаюсь историей, философией, научным коммунизмом. Мы с вами, естественно, полярных убеждений, но, если это вас интересует, мы бы могли вместе работать, читать... У меня и книг много... – Он постучал пальцами по туго набитому портфелю.

– И что же это вы хотите, чтобы я, Инсанахоров, пошел на

содержание к вам, Владимиру Лукичу? – вспыхнул Инсанахоров, сделав упор на два последних слова.

– Да полноте вы, – грубовато, но ласково приобнял его Владимир Лукич. – Подумайте сами, о чем вы говорите, ведь мы нынче совсем в иной реальности, где деньги не имеют превалирующего значения.

Инсанахоров встал и прошелся по комнате.

– Позвольте узнать, – спросил он наконец, – сколько вы платите за вашу квартиру?

Владимир Лукич сильно удивился:

– То есть как это плачу? Квартира бесплатная, мне ее предоставил отдел культуры города Мюнхена, зная мою нелегкую судьбу. Мне даже выделили небольшую стипендию «на проживание».

– Сколько?

– Сто рублей серебром. Ведь немцы – отзывчивый народ, они всегда сочувствовали русским. вспомните тот самый ленинский «пломбированный вагон», о котором нынче так много шумят обыватели.

– Тогда это меняет дело, – проговорил Инсанахоров после продолжительного молчания. – Но я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь брать с меня деньги на питание. Я не пью, не курю, двадцать рублей я дать вам в силах, тем более что, по вашим словам, я буду делать экономию на всем прочем.

– Разумеется, но, право же, мне совестно...

– Иначе нельзя, Владимир Лукич. И если вы спросите, куда я дел свою Нобелевскую премию за изобретение мины, то я вам никогда ничего не отвечу, но только знайте, что эти деньги пошли на добрые дела, для возрождения нашей несчастной России.

– Что вы! Ваша честность известна во всем мире! – искренне проговорил Владимир Лукич, и они обнялись в едином порыве.

VIII

Вечером того же дня Анна Романовна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме нее в комнате находился ее муж, Николай Романович, да еще некто Евгений Анатольевич, троюродный дядя Николая Романовича и одновременно двоюродный брат того самого мифического внука Николая Романовича, писателя, скрывающегося на Байкале.

Евгений Анатольевич и сам был отставной писатель неизвестно какого возраста, человек тучный до неподвижности, с маленькими желтыми глазками, как у Мумми-тролля, бесцветной физиономией и кривой бородкой, косо растущей на его пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Мюнхене процентами с небольшого капитала, положенного на счет в «Дойче банке» его женой, тоже писательницей, но живущей в СССР и имеющей постоянные конфликты с властями в основном из-за своего резкого, прямого характера, которого побаивался даже и Евгений Анатольевич, потому что она во время их длительной совместной жизни частенько побивала его палкой или еще чем другим, что попадает под руку. Евгений Анатольевич последнее время совершенно ничего не делал, ел, пил и навряд ли даже думал, а если и думал, так берег свои думы про себя.

Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, приняв участие в неподцензурном альманахе

«Метрополь», что преследовался властями СССР за якобы содержащееся в нем категорическое требование свободы хотя бы слова, и этого опыта для него оказалось достаточно, чтобы отрешиться от суеты и поймать небывалое отвращение к так называемой «общественной жизни». Ходил он обычно в хлопчатобумажной фуфайке, кожаных баварских шортах, ел часто, много и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда его о чем-то спрашивали, ошибочно думая, что он умный человек, судорожно тер пальцами правой руки загорелую лысину, чесал под мышкой, с трудом выговаривая: «Да... Действительно... Я тоже так полагаю... Ябеныть...»

Евгений Анатольевич сидел в креслах возле окна и дышал напряженно, потому что, очевидно, уже изрядно выпил с утра. Николай Романович ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы, и ругал нынешнюю молодежь.

– Руся, например, – продолжал Николай Романович, – Русю я не понимаю точно. Я для нее не довольно романтичен. Ей вся Россия мила, за исключением родного отца, который, между прочим, не хухры-мухры, а все-таки российский... ну, ладно, не будем говорить об этом. Нервы, ученость, паренье в небесах, антисекс – это все не по нашей части. Но вот этот самый наш уважаемый Михаил Сидорыч, ведь он же просто мерзавец! Положим, ты писал Зденеку Млынаржу, знаешь Дубчека, Горбачева, но это же не значит, что ты должен вести себя как свинья по отношению к тем, кто... кто старше тебя,

больше поработал для России и, наконец, поит, кормит тебя.

Евгений Анатольевич только крикнул, поглядел на него, почесался. Анна Романовна оживилась.

– А вот мы сейчас выясним, почему это он так распустился.

– Я этого вовсе не требую, – начал было Николай Романович, но было уже поздно. Как из-под земли вырос Михаил Сидорыч.

– Явился не запылится, – лукаво отрапортовал он.

Николай Романович опустил глаза.

– Как ты можешь манкировать Николаю Романовичу, я тобой очень недовольна, – еле заметно подмигнула ему Анна Романовна.

– Я готов извиниться перед вами, Николай Романович, – проговорил Михаил Сидорыч с учтивым полупоклоном, – если я вас точно чем-нибудь обидел.

– Я вовсе не о том, – возразил Николай Романович, по-прежнему избегая встречаться взглядом с Михаилом Сидорычем. – Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я человек добрый и незлопамятный. Просто... жалко, что вы тратите свои лучшие годы на всякую ерунду.

– Но позвольте, в чем же все-таки заключается моя вина? – тихо и любопытно спросил Михаил Сидорыч. Повисло напряженное молчание.

– Ах, боже мой! – торопливо воскликнул Николай Романович. – Минуты нет покоя. Только задумаешься о судьбе

России, а тут сцены, неприятности. Идите-ка вы все к черту!

И, не докончив начатой речи, он быстро вышел вон, хлопнув дверью.

– Как же... Россия... – язвительно сказала ему вслед Анна Романовна. – Не о России вы думаете, ветреник, а об этой... этой... С кем лучше кататься на «вольво», чем с собственной женой. Где мой бокал с легким искристым рейнским мюнхенского розлива?

И она удалилась, шурша шелковой пижамой. Михаил Сидорыч хотел было последовать за ней, надеясь, что она его тоже угостит, но был остановлен посерьезневшим Евгением Анатольевичем.

– Следовало бы... это... начистить тебе хлебало, ябенить, – говорил вперемежку отставной писатель.

Михаил Сидорыч угрожающе наклонился к нему:

– А за что же это, полупочтеннейший Евгений Анатольевич?

– За то, что... уважай Николая Романовича. А вдруг он и в самом деле царь?

– Кто? Николай Романович?

– Известно, он. Скаль зубы-то!

Михаил Сидорыч скрестил руки на груди.

– Эх вы, фундамент вы общественного здания, черноземная вы сила, широко известная в узких кругах.

Евгений Анатольевич потер лысину:

– Полно, брат, не искушай, ты знаешь, у меня рука тяже-

лая...

– Ведь вот, – продолжал Михаил Сидорыч, – умный вы, кажется, человек, а как легко вас наколоть! Да знаете ли вы, адепт Колчака, за что наш *царь* гневается на меня? Ведь мы с ним сегодня все утро провели у его немки. Сначала пели для смеху советские революционные песни, а потом скучно стало, мы взяли с его немкой и разделись догола. Он обиделся да ушел, и я следом за ним – на кой мне его немка? Кто же тут виноват, что везде такой бардак? А?

– Не искушай, говорю тебе, – простонал Евгений Анатольевич.

Михаил Сидорыч засмеялся и выбежал вон. А Евгений Анатольевич, просидев около часу недвижимо, достал из внутреннего кармана фуфайки плоскую фляжку с грушевой водкой и долго с усилием глядел на нее, будто не понимая хорошенько, что такое у него в руке. Потом он посмотрел в зеркало, остался доволен своим изображением, крепко приложился и откинулся в креслах, снова глядя на фляжку. Уже очень много других событий романа «Накануне накануне» произошло, а он все держал фляжку перед собой в растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием поглядывал то на нее, то в зеркало, пока фляжка совсем не опустела.

IX

Михаил Сидорыч вернулся к себе во флигель и раскрыл было самиздатскую книгу «Эротика в тоталитарном искусстве», иллюстрированный альбом, который тайно привезли ему из СССР, потому что он обещал принять деятельное участие в репринтном его переиздании на Западе. Но тут под дверь его комнаты как бы сам собой просунулся беленький треугольник складного письма, и он с жадностью схватил послание.

«Я надеюсь, – писал ему Николай Романович, – что Вы все же не такое говно, чтобы трепаться на каждом углу о наших утренних jokes¹. Ведь так поступают только безрогие скоты и козлы, к которым я пока еще не имею серьезных оснований Вас причислять».

Михаил Сидорыч начертал внизу фломастером: «Не бэ, пахан, мой рот – могила» – и осторожно подсунул записку под дверь, где она мгновенно исчезла.

Он снова было взялся за книгу, но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел, как алеет запад на фоне двух могучих дубов, стоящих особняком от других деревьев, и подумал: «Днем дубы очень красивые бывают, а какие же они вдвое красивые вечером», – и отправился в сад с тайной надеждою встретить там Русю.

¹ Шутках (*англ.*).

Он ее там и встретил.

– Извините меня, – сказал он, – что я лезу со своим свиным рылом в калашный ряд, то есть здороваюсь с вами.

Руся вспыхнула и отвернулась, закусив губу. Михаилу Сидорычу вдруг стало отчего-то стыдно.

– Я ведь вспомнил, что еще не попросил у вас прощения в моей вчерашней дикой выходке. Простите меня!

Руся робко посмотрела на него, опасаясь, что тот снова ерничает, но, увидев его глаза, полные слез и мольбы, обняла его и поцеловала как родного.

Он тоже сжал ее в объятиях и, задыхаясь, спросил:

– Скажите... мы действительно никогда не сможем быть... быть вместе? Хоть на час, хоть на минуту, хоть на секунду?

– Нет, Михаил Сидорыч, – просто и грустно ответила Руся. – Это никак невозможно. Вы, может быть, очень добрый человек, но как мужчина вы для меня – ноль и как мыслитель – тоже ноль, а двумя нулями, как вы знаете, метят двери нужников.

– Недурно сказано, ценю ваше остроумие, – проговорил с комической унылостью Михаил Сидорыч, которого эта фраза непонятно почему даже немножко развеселила. – Засим *нужник* полагает, что ему неприлично мешать далее вашей уединенной прогулке своей вонью. Прощайте! Adios!..² – вдруг заговорил он по-испански.

Руся хотела остановить его, но подумала и тоже сказала:

² Прощайте!.. (исп.).

– Adios. – И добавила: – Aufwiedersehen³. Катись на катере к такой-то матери... – Она не любила употреблять нецензурные слова.

А Михаил Сидорыч тут же встретил Владимира Лукича, который ехал по дорожке сада на никелированном велосипеде со спущенным задним колесом.

– Ехай, ехай, брат! – как безумный завопил он. – Ехай прямо к ней, трахни ее, возьми ее, симбирский гунн! Она, кажется, именно тебя ждет... кого-то она ждет, во всяком случае! Знаешь ли ты, что я уже два года живу с ней в одном доме и только сейчас осознал, что мог бы быть с нею, но сам, из-за собственного легкомыслия, потерял свое счастье. И не скаль, пожалуйста, на меня свои желтые зубы, не сдвигай грозно остатки бровей. Я не помешаю тебе. Я отправлюсь на Главный вокзал Мюнхена и там проведу время не хуже, чем ты!

Владимир Лукич и не думал гневаться на Михаила Сидорыча, потому что он в самом начале этой тирады упал с велосипеда и теперь лежал на дорожке, усыпанной крупнозернистым гравием, ожидая, чтобы кто-нибудь его поднял.

А Михаил Сидорыч действительно поехал на Главный вокзал города Мюнхена и там подрался с советскими туристами, которые громко обсуждали у витрины небольшой лавчонки, как бы им на пять дойчемарок купить каждому по двухкассетному магнитофону.

³ До свидания (нем.).

– Вюр апталюнг полицай! – завопил он на неизвестном туристам и автору языке, и они испуганно разбежались, опасаясь, что их никогда больше не пустят за границу или исключат из коммунистической партии.

X

Руся дружелюбно встретила Владимира Лукича, но уже не в саду, а в барском доме и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна. Николай Романович, по обыкновению, уже куда-то смотался, Анна Романовна, по обыкновению, лежала наверху с мокрой повязкой на голове, Сарра сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и играя сама с собой в «спичечный коробок», Евгений Анатольевич храпел в мезонине на широком и удобном диване, получившем у Тургенева прозвище «самосон».

Владимир Лукич снова заговорил о своем отце, память которого он так искренне чтит, несмотря на приключения, которые ему пришлось претерпеть из-за отца в этой жизни. Скажем и мы пару слов об этом человеке.

Мудак он был, лодырь, бездельник, пьяница и похотливый павиан, этот его папаша, царствие ему небесное, вечный покой! Свои денежки быстро профукав, вечно жил на содержании у других мудаков, вкусно ел и вкусно пил. Если в молодости он еще сочинял что-то дельное об отчуждении, то в зрелые годы все в его башке окончательно перемешалось, и он вместо того, чтобы правильно воспитать Владимира Лукича и сделать его полезным членом общества, дурил мальчонку вечными идиотскими рассуждениями о прибавочной стоимости, пауперизации, отчего Владимир Лукич с детства

пришел к мысли, что Русь можно звать только к топору. Старик в общем-то был неплохим человеком, особенно когда овдовел, тогда в нем появилось даже что-то человеческое. Но он продолжал упрямо таскаться за сыном и вечно бубнить ему самый что ни на есть отъявленный вздор, особенно тогда, когда сынок учился в университете и вроде бы взялся за ум, собираясь стать нормальным присяжным поверенным и тем самым способствовать процветанию обновленной земством России. Однажды старый Лука вздумал побеседовать со студентами о Марксе, но они, едва увидев его, тут же напоили его пивом, смешанным с водкой, и он в этот день уже больше ничего не мог сказать, а другого дня больше не представилось, потому что в России грянул 17-й год, и его вскоре расстреляли, как контрреволюционера, причем расстрелом руководил лично Владимир Лукич, так уж получилось.

Интересно, что последний факт (расстрел) не так потряс его отца, как то, что революция 17-го года свершилась вопреки всем его теориям в одной из самых слабых в экономическом отношении стран, и теперь следовало переделывать все его учение, что он и завещал сыну, на чем они и помирились у испещренной пулями стенки Петроградской чрезвычайки. «Передаю тебе светоч, – торжественно говорил старик, раскуривая последнюю в своей жизни папиросу, любезно предложенную ему сыном, – я держал его, покамест мог, не выпускай его и ты, сей светоч, до конца».

Владимир Лукич долго говорил с Русей о печальной кон-

чине своего отца и сказал, что теперь, умудренный опытом прошлой жизни и инкарнации, он ни за что не поступил бы с отцом так жестоко, а в лучшем случае сослал бы его на Соловки. Разговор перешел на бывших соратников Владимира Лукича.

– Скажите, – спросила его Руся, – между ними были замечательные люди?

Владимир Лукич вздохнул:

– Нет, Руся Николаевна, сказать вам по совести, это было одно говно, за исключением Левушки Троцкого, который был среди них главным говнюком, стоящим на втором месте от Иоськи Джугашвили.

– Тяжело вам, революционерам, преобразователям страны! А на кого вы надеетесь сейчас?

– Ну есть кой-какая смена товарищей. Вот Михаил Сидорыч. Молод, конечно, но его ждет большое будущее. Полагаю, именно ему будет доверено со временем придумать перестройку. Вы не смотрите, что он сейчас выглядит таким легкомысленным, у паренька под шапкой волос зреют острые, современные мысли. Он копит мысли как пчелка мед. Боюсь только, что не выдержит Миша нашего будущего августовского коммунистического путча 1991 года: заменжуетя, закрутится, заблазырится, заферфурекает, забздит, заухухонькается... – внезапно забормотал он и продолжал бормотать: – ...зачалится, замандражится, зазюзюкается...

Руся вытаращила на него глаза.

– Ах, извините, – смутился Владимир Лукич. – Я ведь не совсем здоров, недавно из психиатрической больницы, это у меня остаточные припадочные явления, связанные с ясно-видением, вроде как в фильме «воспоминание о будущем» Эриха фон Деннигена. Кстати, не родственник ли он Антону Деникину, белому генералу, надо бы разобраться!

Но Русю не так легко было сбить с толку и увести в сторону от намеченной ею темы.

– А что вы думаете об Инсанахорове?

– А что мне о нем думать? Я люблю его, – просто сказал Владимир Лукич, – люблю, хоть он и мой идейный враг.

– То есть в каком смысле любите? – чуть насторожилась Руся.

– Ну, разумеется, не в том, какой вы, очевидно, имеете в виду. Люблю его как товарища, люблю за светлую голову, за то, что он изобрел мину, получил Нобелевскую премию. Вот его биографические данные: Инсанахоров жил в СССР, изобрел мину, получил Нобелевскую премию, но на честь его матери, балерины Большого театра, посягнул кровавый злодей, глава НКВД Лаврентий Берия. Инсанахоров, тогда еще совсем молодой человек, устроил так, что автомобиль, в котором ехали Берия и Сталин, взорвался на изобретенной им мине, но выяснилось, что это были лишь двойники, и он тем самым убил лишь нескольких весьма приличных артистов московских драматических театров, про которых пишут в энциклопедии. Ему пришлось скрываться, его мать и отца,

известного циркового дрессировщика, схватила вездесущая служба Берии, и они погибли в ужасных мучениях на космодроме Байконур, потому что с ними поступили как с подопытными кроликами. Вы, наверное, слышали, как Советы хвастались, будто запустили в космос собачку Лайку. На самом деле это была мать Инсанахорова. А тот, которого впоследствии называли Первым Космонавтом, был его отцом. Так Инсанахоров оказался здесь, в Мюнхене.

Руся содрогнулась. Владимир Лукич остановился.

– И что же теперь? Каковы его планы? – спросила Руся.

– Не знаю, – пожал плечами Владимир Лукич. – Он ведь ужасный молчальник. Он намерен здесь еще более образоваться, сблизиться с русской колонией, а потом, когда напишет ряд важных трудов...

– Что же тогда? – перебила его Руся.

– Что бог даст! Мудрено вперед загадывать...

В это мгновение в комнату вошла Анна Романовна, и разговор сам собою прекратился.

Странные ощущения волновали Владимира Лукича, когда он возвращался домой в этот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Русю с Инсанахоровым, рассказ о котором, очевидно, произвел на нее самое глубокое впечатление, но... какое-то тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошей грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Происхождение партократии» и начать читать эту книгу с той самой страни-

цы, на которой он остановился накануне.

XI

Два дня спустя Инсанахоров, по обещанию, явился к Владимиру Лукичу со своей поклажей, состоявшей из пишущей машинки «Эрика», бравшей четыре копии, транзисторного приемника «Сони» и нескольких пачек чистой бумаги. Устроившись, он со свойственной ему молчаливостью попросил Владимира Лукича получить с него десять рублей вперед, взял приемник и куда-то ушел. Он вернулся часа через три, Владимир Лукич за это время сбегал в магазин «Кайзер», купил ветчины, свиных отбивных, салями, пива, рейнского вина и ананасов. Но Инсанахоров, к его удивлению, осмотрел пиршественный стол критическим взглядом и попросил Владимира Лукича вернуть ему задаток обратно.

Объяснив, что так кушать ему не по средствам и что он предпочитает питаться гнилыми бананами, которые он покупает в экономически выгодном магазине «Норма», запивая их холодной водой из-под крана, куда он бросает в стакан специальную таблетку, чтобы от водопроводной воды не заболел желудок.

– Помилуйте, что за вздор. Ведь я это так, по-товарищески, для первого раза, как говорится, – покраснел Владимир Лукич.

– Еще раз повторяю, мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, – со спокойной улыбкой отвечал

Инсанахоров. – Может быть, гнилые бананы – это действительно вздор, но я не могу себе позволить обжираться, когда весь народ в СССР голодает под игом коммунистов и вместо рейнского пьет портвейны «Кавказ» и «Солнцедар», дающие жуткую кривую смертности, о чем недавно рассказывали по «Би-би-си».

В этой улыбке было что-то такое, что не позволило Владимиру Лукичу настаивать.

Они отобедали каждый порознь, и Владимир Лукич предполагал, что сейчас они направятся к Русе, но Инсанахоров ответил, что весь вечер собирается писать письма русским диссидентам, крымским татарам, забастовщикам Кузбасса, демонстрантам на Манежной площади и советскому правительству, чтобы оно наконец одумалось и в стране наступила свобода.

– Нужно научиться у немцев хотя бы их аккуратности, если мы волею судеб здесь, – с коротким смешком добавил он.

На второй день после своего переселения Инсанахоров встал в четыре часа утра, обегал почти весь Фелдафинг, искупался в озере, выпил стакан воды и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, записывал русские песни и летописи, собирал материалы о нарушениях прав человека в Восточной Европе, составлял русскую грамматику для советских, советскую для русских. Владимир Лукич зашел к нему потолковать о Марксе. Инсанахоров слушал его веж-

ливо, но было видно, что Маркс его мало интересуется. Заговорили о России, о том, как бы сделать так, чтобы она снова расцвела, и лицо Инсанахорова разгорелось, голос возвысился, все существо его как будто окрепло и устремилось вперед. Он говорил, говорил и говорил.

Но не успел он умолкнуть, как дверь растворилась, и на пороге появился Михаил Сидорыч.

– Хочу с вами познакомиться, – начал он без церемоний и даже наоборот – со светлым и открытым выражением лица. – Меня зовут Михаилом, по бабушке – Сидорычем, а вы ведь господин Инсанахоров, не так ли?

– Совершенно верно. Я – Инсанахоров. Моя голова к вашим услугам.

– Что же мы делаем сегодня, а? – заговорил Михаил Сидорыч, внезапно садясь на пол в своих джинсовых шортах, обнаживших его толстые, мясистые ляжки. – Владимир Лукич, есть ли у вас, товарищ, какой-либо конкретный план на нынешний день? Погода славная, сеном пахнет, как... как в Московской губернии. А может, пойдем в этот немецкий биргартен, что около вокзала, тяпнем по парочке пивка, а?

Владимир Лукич испугался, что Инсанахоров сейчас же начнет ругаться или важничать, но тот, вопреки его ожиданиям, вдруг весело сказал:

– Что ж, делу время, потехе час, как говорят у нас в России.

Вскоре приятели уже сидели под развесистой липой и

потягивали из толстых стеклянных кружек светлое немецкое пиво. Говорили буквально обо всем: о русских, немцах, французах, англичанах, финнах, американцах, спели несколько русских народных песен антисоветского и идейно ущербного содержания.

– Да, люблю жизнь! – воскликнул Михаил Сидорыч, когда веселие начало мало-помалу иссякать. – Жизнь широка, как Волга, впадающая в Азовское море.

– В Каспийское, – мягко поправил его Инсанахоров.

– В самом деле? Я страшно смущен! Забыть конечный пункт прибытия важнейшей русской артерии – позор! – зачастил Михаил Сидорыч, но всем было понятно, что этими своими внешне нелепыми словами он как бы экзаменует Инсанахорова, как будто бы даже щупает его, как курицу, – есть ли у той яйцо, отчего и волнуется внутренне, особенно тогда, когда видит: Инсанахоров точно и дельно отвечает на его многочисленные каверзные вопросы, оставаясь по-прежнему спокойным и ясным, несмотря на изрядное количество выпитого пива, за которое заплатил Михаил Сидорыч, как ни настаивал Инсанахоров на том, чтобы счет им подали отдельно.

– Славно провели время, – сказал Михаил Сидорыч, икнув. – Давайте теперь и дальше не расставаться. Айда-ка все к Романовичам. Вы оба спешите к ним медленно, а я поспешу быстро, побегу петушком, чтобы наперед известить их о вашем приходе.

Что-то неуловимо злобное мелькнуло при этих словах в выражении его лица, но ни Владимир Лукич, ни Инсанахов не заметили этого.

XII

– Диссидентец господин Инсанахоров, борец за права человека, щас сюда пожалуют! – торжественно воскликнул он входя в гостиную, где уже сидели Сарра и Руся, а Анны Романовны там не было, а Николая Романовича и тем более.

– Кто? – невнимательно спросила Сарра, увлеченная игрой в карты, а Руся выпрямилась и ничего не сказала, тоже играя в карты.

– Вы что, оглохли, что ли, так я вам щас ушки прочищу! – рассердился Михаил Сидорыч.

– Мы не оглохли, а вы – дурак, если так говорите о заслуженном человеке, которого мы еще не знаем, – с достоинством осадила его Руся.

Михаил Сидорыч стушевался.

– А какой национальности господин Инсанахоров? – вдруг спросила Сарра.

– Он – корейский еврей из Сибири, продавшийся американскому шаху-монаху, – с досадой ответил Михаил Сидорыч.

– Вы опять за свой антисемитизм, последнее убежище негодяев! – вспыхнула Сарра и развернулась, собираясь ударить Михаила Сидорыча по лицу, но тут раскрылась дверь, и в комнату вошли желанные гости, ведомые Анной Романовной, которую они встретили по дороге и уже успели выпить

с ней немного холодного рейнского вина. Мелькнула в дверях также и отвратительная физиономия покачивающегося Евгения Анатольевича с выпученными маленькими глазками на багровом лице, но он тут же куда-то исчез, очевидно, завалился храпеть, по своему обыкновению, или сел писать какой-нибудь вздор.

– Сарра! Руся! Сыграйте вы, русская и еврейка, символически представляющие две основные нации нашей многонациональной родины, песню «Будь проклята ты, Колыма» для нашего уважаемого гостя, – приказала Анна Романовна.

– Но, маменька, ведь вы еще совсем недавно считали эту песню неприличной? – не удержалась Руся.

– Играй, дочь моя, и пой! – торжественно повторила Анна Романовна, приложив к глазам кружевной платочек. – Новое время – новые песни. Господин Инсанахоров объяснил мне, что скоро в СССР наступят большие перемены, а потом их будет еще больше.

И зазвучала музыка, и полилась песня. К дуэту, исполняемому двумя ломкими девичьими голосами, вскоре присоединились все остальные присутствующие, включая прислугу, но исключая Николая Романовича, который так и не появился.

Попели. Покушали. Стемнело. Гости направились домой.

– Как вам понравились наши новые знакомые? – робко спросил Владимир Лукич у Инсанахорова.

– Они мне очень понравились, эти хорошие русские лю-

ди, – отвечал Инсанахоров. – Особенно Сарра, а еще больше – Руся. Руся – славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

– Надо будет к ним ходить почаще, – заметил Владимир Лукич.

– Да, надо, – проговорил Инсанахоров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас же заперся в своей комнате, где принялся стучать на машинке и слушать «Голос Америки» до самого утра.

А Владимир Лукич не успел еще прочесть страницу из Авторханова, как в окно ударил сильно камень, чуть было не разбив его. Владимир Лукич высунулся и увидел Михаила Сидорыча, который с трудом держался на ногах и порывался заплакать.

– А ваш Инсанахоров никому не понравился, особенно Русе, потому что он все время молчал. Обосрался ваш Инсанахоров! – тоном торжествующего хама заявил он.

– А вот и врешь, брат! – понял его состояние Владимир Лукич. – Ты его, очевидно, просто-напросто ревнуешь. И зря. Ему до мелочей жизни нет никакого дела: слышишь, как торжественно стучит в ночи его пишущая машинка, возвещающая новые идеи для человечества.

– А вот я тогда возьму да и утоплюсь в Штарнбергском озере, – проговорил сквозь рыдания Михаил Сидорыч.

– Нет, брат, стара штука, ты мне это уже много раз обещал, но пока еще ни разу не исполнил, – сухо ответил Вла-

димир Лукич и затворил окошко.

Михаил Сидорыч куда-то побежал. В томительном ночном воздухе слышалось мелодическое пение лирической песни «Лили Марлен», которую почти профессионально исполнял какой-то невидимый в темноте немецкий юноша. Вскоре к этому чудному пению присоединился и голос Михаила Сидорыча.

XIII

В течение первой недели после переселения в Фелдафинг Инсанахоров не более четырех или пяти раз посетил жилище Анны Романовны. Зато Владимир Лукич, можно сказать, не вылезал из этого дома. Руся всегда ему была рада, всегда завязывалась между ним и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Михаил Сидорыч почти не показывался; он с лихорадочной деятельностью занялся неизвестно чем: либо сидел взаперти у себя в комнате, сочиняя на пишущей машинке труд «Об инакомышлении», либо проводил дни и ночи в Мюнхене, где у него вдруг объявилось много знакомых и даже почитателей из разных слоев общества.

Русе ни разу не удалось поговорить с Инсанахоровым так, как ей хотелось; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но, когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Вместе с тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были сказанные между ними слова, он привлекал ее все более и более, но ведь всем известно: чтобы сблизиться с человеком, нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз и выпить. Зато она много говорила о нем с Владимиром Лукичом. Владимир Лукич понимал, что воображение Руси поражено Инсанахоровым, и радовался, что его приятель не «обосрался»,

как утверждал Михаил Сидорыч; он живо, до малейших подробностей рассказывал ей все, что знал о нем, и лишь изредка, когда бледные щеки Руси слегка краснели, а глаза расширялись, неприятно скалился, обнажая свои упомянутые желтые клыки.

Однажды он пришел к Русе рано, часов в семь утра. Руся вышла к нему в залу, потому что не спала всю ночь.

– Вообразите, – начал он с нехорошей улыбкой, – наш Инсанахоров пропал!

– Как пропал? – проговорила Руся, опускаясь на стул.

– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и до сих пор его нету.

– Может, он в Москву отправился, – промолвила Руся, стараясь казаться равнодушной и сама удивляясь тому, что старается казаться равнодушной.

– Не думаю, – возразил Владимир Лукич. – Скорее уж его кто-нибудь убил. Он ведь ушел не один. К нему третьего дня явились какие-то братья, по виду разбойники, но с разными фамилиями, я случайно запомнил – Попов, Ерофеев, Пригов. Русские. И скорее всего, из СССР.

– А почему же вы думаете, что они из СССР?

– Да потому что они матерились, прости господи, как свиньи. Слова без мата не скажут. Представьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал, и он матерился.

– И он?

– И он. Страшно матерился. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица тупые, красные, озверевшие от водки, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду – хиппи не хиппи и одновременно – не «товарищи». Бог знает, что за люди?

– И он с ними отправился?

– Именно, что – да. Напоил советских водкой да ушел с ними. Вы бы видели, как эти три господина выпили единым махом полуторалитровую бутылку водки «Смирнофф». Так вперегонку и глотали, словно волки.

Руся слабо усмехнулась.

– Вот помяните мое слово, все это объяснится какой-нибудь прозаической пакостью. Фи! Какая гадость, ханку жрать с утра да на халяву! – пожала она плечами.

– Так ведь и Ленин за минуту до Октябрьской революции приняли с Троцким на грудь по стакану коньяка «Мартель», а Сталину не налили. У меня о том есть достоверные сведения, – подмигнул ей Владимир Лукич.

– Так ведь это все-таки была революция, те десять дней, которые потрясли весь мир, хоть и принесли гекатомбы беды для нашего народа, – отпарировала Руся и тихо добавила: – Революция, а не пьянство и половая распущенность.

Их разговор и оборвался на этой фразе, потому что сверху послышались вопли: то проснулась Анна Романовна и сразу же принялась ругать за что-то Сарру.

– И все-таки дайте мне знать, когда этот херр вернется, –

тихо сказала Руся, провожая печального Владимира Лукича.

Владимир Лукич ушел не обернувшись.

В тот же день вечером Русе принесли от него записку. «Херр Инсанахоров вернулся, очень мучается с похмелья. Но зачем и куда ездил, не говорит. Может, у вас заговорит?»

Руся прошептала что-то неразборчивое, обнажила левую грудь, подняла правую руку и подошла к зеркалу.

XIV

На следующий день, часу во втором, Руся все еще стояла у зеркала в той же позе, но вдруг чуть не вскрикнула, увидев в зеркало, что прямо к ней по аллее шагает Инсанахоров, один. Она живо спрятала грудь на место и сделала вид, будто читает книгу Солженицына «Наши плюралисты».

– Здравствуйте, – промолвил он, и она заметила, что он, точно, сильно опух в последние три дня. – Владимир Лукич уже, конечно, донес вам, что я ушел с какими-то... безобразными людьми, – проговорил он, продолжая улыбаться.

Руся немного смутилась, но тотчас почувствовала, что такому человеку, как Инсанахоров, надо всегда говорить правду.

– Да, – сказала она решительно, – но я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

– Ну и спасибо вам за это. Видите ли, Руся Николаевна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – наших здесь небольшая семейка, есть между ними люди грубые, пьяные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня писатели «новой волны» из СССР, Попов, Ерофеев да Пригов, – разобрать, кто из них лучше пишет.

– А вы?

– А я сказал: это все пустое, потому что никто из вас совершенно не нужен народу с вашими формалистическими выкрутасами и цинизмом. Они не поверили. Пришлось ехать в Мюнхен, разобраться, позвали Сережу Юрьенена с радио «Свобода», Володю Войновича, Борю Хазанова, Марию Титце, Игоря и Ренату Смирновых, достигли все вместе, как говорят теперь у *них*, – консенсуса. Попов, Ерофеев да Пригов убрались обратно в свою Совдепию, весьма довольные тем, что попьанствовали да похулиганили.

– Зачем же вы тратите свое драгоценное время на таких ничтожных людей? – дрожа ноздрями, спросила Руся.

– Так ведь они – тоже русские, хоть и свиньи, – отозвался Инсанахоров.

– Ой ли, русские? – не удержалась Руся.

– К сожалению, русские, Руся Николаевна, – твердо ответил Инсанахоров. – Русские лишние люди. А что я время потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

– Кому же?

– А всем, кому в нас нужда. Ведь мы накануне громадных перемен, Руся Николаевна, – подчеркнул Инсанахоров.

– Господин Инсанахоров, а знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны? Позвольте же и мне быть откровенной с вами. Можно?

– Валяйте, попробуйте, – засмеялся Инсанахоров.

– Мне Владимир Лукич много рассказывал о вашей жиз-

ни, об изобретенной вами mine, о вашей Нобелевской премии. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Ваших родителей, артистов, запустили в космос... Скажите, встретились ли вы с *тем* человеком?

Дыхание захватило у Руси. Ей стало и стыдно, и страшно своей смелости. Инсанахоров глядел на нее пристально, прищурившись, как Владимир Лукич.

– Я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я, к сожалению, не встретился с ним, отчего и нет мне в жизни покоя, как Вечному жиду. Дело в том, что Хрущев, конечно же, расстрелял не самого Берию, но его двойника, другой его двойник скрылся в Аргентине. Я выследил настоящего Берию. Он жил в Дмитрове под Москвой, в поселке шлако-насыпных домов фрезерного завода, для отвода глаз служил в Управлении реализации Художественного фонда РСФСР, пьянствовал с известным поэтом Александром Клещевым. Я выследил его. Но я... я опоздал... В его доме не было даже минимальных удобств, он наполнил жестяную ванну холодной водой, залез в нее, включил электрокипяtilьник, потерял сознание и сварился заживо. Соседи обнаружили его через несколько дней, привлеченные перманентным запахом свежего бульона из его квартиры. Его мясо уже отстало от костей, они выключили кипяtilьник, следственные органы прибыли с опозданием, и в это время из Берии в ванне уже сделался холодец, отчего его личность, естественно, опять не была опознана.

Потрясенная Руся посмотрела на него сбоку.

– Вы очень любите свою Родину?

– Это еще не известно, – отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из нас покепчится за нее, когда его повесят или зарежут с расчленением, только тогда можно будет сказать, что он ее любил.

– А вот если бы вы не имели возможности вернуться в СССР никогда, – продолжала Руся. – Вам было бы очень тяжело?

Инсанахоров потупился.

– Я бы тогда поехал в Австрию и повесился там в Венском лесу, где работал дровосеком писатель Саша Соколов, – проговорил он.

– Скажите, – начала опять Руся, – трудно выучиться советскому языку?

– Нисколько. Русскому стыдно не знать советского языка, если он хочет бороться за свободу своей Родины. Хотите, я вам принесу советские книги – Евтушенко, Вознесенского? Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело. – У нас все отняли: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо, гоняют нас поганные коммунисты... Нарушают права человека, экологию, содержат лучших наших людей в концентрационных лагерях и психиатрических больницах. Пидарасы! Суки, блядь!

– Господин Инсанахоров! – была вынуждена остановить его покрасневшая Руся. Он остановился.

– Извините меня за резкость, не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы спросили меня, люблю ли я Родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить, после Бога? Заметьте: последний колхозник, последний бич в СССР и я, лауреат Нобелевской премии, – все мы желаем одного и того же: чтоб поскорее сгинул проклятый коммунистический Совдеп. У всех нас одна цель, а после этого – хоть потоп. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Руся слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием, а когда он ушел, она долго смотрела ему вслед, потому что он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила два часа тому назад. С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Владимир Лукич все реже и реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, неприятное, как слизь. Так прошел месяц.

XV

Как уже известно читателю, Анна Романовна любила сидеть дома, но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного.

Вот и в этот раз – под влиянием фильма Лукино Висконти «Людвиг Баварский» – ей захотелось посмотреть то место, где злодеи убили своего короля, отчего тот не сумел закончить баварскую перестройку, хотя и украсил Баварию сетью красивых замков. Или, может быть, он просто утонул? О чем гадают сейчас ученые и просто почитатели покойного Людвига, к числу которых относится и автор этих строк...

А место это было на Штарнбергском озере, в аккурат напротив дома Анны Романовны, куда они все же поехали на машине «вольво», за исключением, конечно же... ну да, Николая Романовича, который предоставил им этот автомобиль, но «в капризных глупостях моей дражайшей супруги» участвовать решительно отказался, объяснив, что крест на предполагаемом месте гибели Людвига Баварского прекрасно можно разглядеть в бинокль, а «вода – везде одинаковая».

Анна Романовна, Руся, Сарра, Владимир Лукич, Михаил Сидорыч, Евгений Анатольевич ехали в автомобиле, за руль которого, к общему удивлению, уселся Евгений Анатольевич и вел машину, надо сказать, неплохо, не виляя колесами.

Инсанахоров, поняв, что ему предстоит сидеть на коленях у двух барышень, решительно заявил, что поедет на крыше автомобиля, дескать, ему «так лучше», и, лишь когда Руся сказала, что она и сама в таком случае поедет на крыше, согласился, чтобы она села к нему на колени, и всю дорогу ощущал тепло ее девичьего тела, отчего Владимир Лукич и Михаил Сидорыч обменялись многозначительными взглядами.

Мрачная, дикая красота памятника Людвигу поразила их в самое сердце, и у них у всех по спине прогулялся холодок, несмотря на то, что был жаркий полдень. «Вот так живешь, живешь, а потом на тебе поставят крест», – невольно подумалось Владимиру Лукичу, но он вспомнил о том, что жизнь – вечна, и некрасиво улыбнулся.

Анна Романовна предложила всем присутствующим искупаться, причем в голем виде, как это иногда делают немцы на обоюдодоловых пляжах. «Ведь мы все свои, ни у кого из нас нет пошлых намерений, так почему бы нам не искупаться голыми, если это так полезно», – объяснила она свою новую причуду.

Все разделись и полезли в воду. У Сарры неожиданно обнаружилась очень большая грудь, расположенная параллельно земле, чего нельзя было сказать о груди Анны Романовны, лобок у Руси был чисто выбрит, как будто она недавно была в больнице, Евгений Анатольевич, заходя в воду, закрыл свой «стыд» ладонью, зато Владимир Лукич, Михаил Сидорыч, Инсанахоров ничего не стеснялись, и их половые орга-

ны свободно болтались на ветру.

Искупавшись, общество разлеглось на песке, подставив спины и животы палящему солнцу.

– А хорошо, что ни у кого из нас нет постыдных мыслей и мы можем свободно лежать, все отдавшись солнцу, как учил древний бог Ра, – продолжила Анна Романовна свою тему.

Евгений Анатольевич, что-то пробурчав, почесал лысину. Владимир Лукич и Михаил Сидорыч перемигнулись и молча оскалили зубы. Инсанахоров перевернулся на живот и закрыл глаза.

– May I introduce you myself? I am the cameraman with «New-York and Washington Post». May I take the picture? «People of the free united Germany is the real free people». Verstehen?⁴

С этими словами из воды вылез двухметрового роста господин, жующий жвачку, пьющий из громадной бутылки кока-колу и прицеливающийся в них фотоаппаратом «Никон» на толстой желтой ленте.

Сперва все вздрогнули, но тотчас почувствовали истинное удовольствие, особенно когда Евгений Анатольевич, которому и в этот раз удалось удивить своих друзей, вдруг рывкнул незваному пришлецу:

⁴ Могу ли я представиться? Я фоторепортер из «Нью-Йорк энд Вашингтон пост». Могу ли я сделать фото – «Люди свободной объединенной Германии – действительно свободные люди». Понимаете? (англ., нем.)

– Hi, the scum! Go away as fast, as you can!⁵ – И сурово добавил на чистом русском языке: – Никакие мы тебе не «джемен», мериканская твоя харя, а истинные русские люди, решившие немного отдохнуть, шел бы ты к Бабаю на шестой километр мухоморы собирать!..

Незнакомец так и застыл с раскрытым ртом, а затем, не зная, куда деваться от радости, быстро залопотал:

– О, какой хороший сэспрайз! Я тоже нет абсолютно рашен. Дед моя бабушка есть тоже рашен. Он есть рашен автор Иван Тургенефф. May I take the sensational picture? «Russians don't have anything more to hide»?⁶ – И запел, ломая язык: – Ямщик, не гонять лошадей, мне нечего больше скрывать.

Все просто сторали от стыда, не зная, как реагировать на такое нахальство. И Владимир Лукич не нашел ничего лучшего, как спросить тургеневского родственника, почему он так хорошо говорит по-русски. Тот охотно ответил, что он «стюдент рашен институт американская армия. Альпс. Гармиш. Вы знать?».

Девушки уже просто не знали, чем закрыться от нахала, тем более что он-то был одетый – в какие-то фосфоресцирующие плавки с кармашками.

И тогда Инсанахоров решился. Он выпрямился во весь свой рост, подошел к американцу и тихо, внятно сказал ему:

⁵ Привет, негодяй! Чеси отсюда так быстро, как только можешь! (англ.)

⁶ Могу ли я сделать сенсационное фото – «Русским теперь уже нечего больше скрывать»? (англ.)

– Ты что, глухой? А ну быстро отсюда, чтобы я тебя, падла, через секунду здесь не видел!

– What's matter?⁷ – с ужасом спросил американец, глядя на член Инсанахорова, который достигал в длину не менее полутора метров, отчего чуть ли не задевал песок, а в диаметре составлял не менее тридцати сантиметров, отчего Инсанахоров был вынужден держать его двумя руками.

– А вот в чем «мэттэ»! – Инсанахоров с силой ударил его членом по лбу, и американец безмолвно скрылся под водой.

– Вы... Вы убили его! – вскочила Руся, в которой гуманизм на данный момент вдруг возобладал над патриотизмом и строгими правилами приличия.

– Говно не тонет, – презрительно отозвался Инсанахоров, который к этому времени уже упрятал все свое «богатство» во вместительные плавки.

И действительно – американец выплыл где-то на середине озера и, пуская пузыри, начал слезливо браниться, что он так этого не оставит «русским ворам» (The Russian thieves), что он будет жаловаться своему правительству, и оно изыщет способ заставить «русских варваров» (The Russian barbarians) возместить ему причиненный моральный и материальный (утрата фотоаппарата) ущерб.

– Думал ли орловский дворянин Иван Тургенев, борясь с самодержавием за свою свободу, что его отпрыск вырастет такой мелочной гнидой! – в сердцах воскликнул Владимир

⁷ В чем дело? (англ.)

Лукич.

– Нет, не думал, – как эхо отозвался Михаил Сидорыч.

А в это время их окружил окрестный немецкий народ, молча на них глядевший, особенно на Анну Романовну, которая находилась в состоянии глубокого обморока.

Но она внезапно очнулась и... захохотала. И неудержимый, несмолкаемый смех поднялся на берегу Штарнбергского озера, как у небожителей Гомера. Хохотали немцы, визгливо, как безумный, заливался Михаил Сидорыч, горохом забарабанил Владимир Лукич, там Сарра рассыпалась тонким бисером, тут Руся не могла не улыбнуться, даже Инсанахоров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Евгений Анатольевич: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного да проговорит сквозь слезы: «Я... думаю... что это хлюпнуло?... а это... он... по лбу... хлюп... плашмя...» И вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Сквозь хохот слышались реплики немцев: «Добрые, веселые русские», «Европа – наш общий дом, единый континент», «Нужно дать русским побольше инвестиций, кажется, это – толковый народ»... Среди прочих хохочущих особо выделялся своим бурным ростом человек, как две капли воды похожий на бундесканцлера Гельмута Коля. А может, это и был Коль?

...Заря уже занималась в небе, когда они возвратились на виллу. Жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрач-

ной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная вечерняя звезда.

Руся пожала в первый раз руку Инсанахорову и долго не раздевалась, сидя под окном и глядя на эту звезду.

XVI

Руся вскоре после знакомства с Инсанахоровым начала дневник. Вот отрывки из этого дневника.

«...Владимир Лукич мне приносит книги, но я их читать не могу. Очень хороший человек Владимир Лукич.

...Птицы! Кажется, полетела бы с ними, полетела – куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда! И не грешно ли это желание?

...Я мало молюсь: надо молиться... А кажется, я бы умела любить!

...Я все еще робею с господином Инсанахоровым. Ему, должно быть, не до нас. Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью».

...Он плохо говорит по-английски и не стыдится – мне это нравится.

...Я сегодня подала дойчмарку одной нищей, а она мне говорит: «Отчего ты такая печальная?»

...К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это? Пошла бы куда-нибудь в служанки, право – мне было бы легче.

...Михаил Сидорыч меня все дразнит – я сердита на Михаила Сидорыча. Что ему надобно? Он в меня влюблен... да мне не нужно его любви. Он в Сарру влюблен. Я к нему

несправедлива.

...Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазнаешься.

...Зачем Владимир Лукич рассказал мне сегодня о каких-то русских подонках – Попове, Ерофееве, Пригове? Он как будто с намерением рассказал. Что мне до этих кретиннов? Что мне до «товарища» Инсанахорова? Я сердита на Владимира Лукича.

...Мне смешно: вчера я сердилась на Владимира Лукича, на Инсанахорова – я даже назвала его *товарищ*, а сегодня... Когда *он* говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит – он делал и будет делать. Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся.

...Михаил Сидорыч заперся. Владимир Лукич стал реже ходить... бедный!

Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? Что он нашел во мне?

...И мамаша его любит, говорит: скромный человек. Добрая мамаша! Она его не понимает.

...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила. Мне кажется, что у *андр* (буду называть его *андр*, мне нравится это имя: Андрон) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте.

...Кто отдался весь... весь... весь – тому горя мало, тот уже ни за что не отвечает. Не я хочу, *то* хочет. Кстати, и он, и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял. Я ему отдала всю розу.

...андр к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня мыслить по-советски. Мне с ним хорошо, как в постели... Лучше, чем в постели.

...Дни летят... И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и весело. О, теплые, светлые дни!

...Мне все по-прежнему легко, и только изредка – изредка немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, страшные новые впечатления! Когда он вдруг стукнул этого великана своим фаллосом, я не испугалась... но он меня испугал. И потом – какое лицо зловещее, почти жестокое! Как он сказал: говно не тонет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом, в темноте, когда я старалась разглядеть и боялась его.

...Я не совсем здорова.

...Он предчувствует *накануне* в СССР и радуется ему. И со всем тем я никогда не видела андр таким грустным. О чем он... он!.. может грустить? Папенька вернулся как-то от своей стервы-любовницы, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас.

...Владимир Лукич пришел: я заметила, что он очень стал худ и бледен. Как бы опять не умер, как тогда, в 1924 году, перед инкарнацией.

...Михаил Сидорыч говорил со мной как с психбольной, с каким-то сожалением. А ведь в его будущем будет очень много связанного со словом *перестройка*. Он – непростой человек и тоже живет уже не то третью, не то четвертую жизнь. Худо нам – многоступенчато существующим.

...Что все это значит? Отчего так темно вокруг меня и во мне?

...Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное.

...Я не спала ночь, голова болит.

...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! Сжался надо мною... Я влюблена... Инсанахоров внедрился в меня...»

XVII

В тот самый день, когда Руся вписывала роковое слово «внедрился» в свой дневник, Инсанахоров объявил Владимиру Лукичу, что возвращается в Мюнхен, и, несмотря на все уговоры добряка, оставался тверд в своем решении.

Естественно, что Владимир Лукич тут же побежал к Русе и рассказал ей все, что только что узнал от Инсанахорова.

Руся крепко стиснула ему руку и низко наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.

– Скажите ему, скажите...

Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

– Как, однако, искренне и сильно она его любит, – умилился Владимир Лукич, возвратившись домой, где горько было ему и не шел ему в голову Авторханов («Происхождение партократии»).

На следующий день, часу во втором, Инсанахоров явился. Анна Романовна пила рейнское вино, и Руся торопливо увлекла гостя к окну, очень высокому и широкому, через которое все было видно, что творится: отсюда – на улице, отсюда – дома.

– Ни слова о прощании. Я все знаю. Приходите завтра утром в одиннадцать часов, и мы все обсудим.

Инсанахоров молча наклонил голову и тут же исчез, как будто его и не было.

А Руся не спала все утро, весь день, весь вечер и всю ночь.

«Он меня любит!» – вспыхивало вдруг во всем ее существовании, но потом она опять думала, что он ее не любит.

Утром следующего дня она разделась, легла в постель, заснуть не могла, встала, оделась, сошла вниз, пошла в сад, вернулась в свою комнату.

Чтобы убить время до одиннадцати часов, она принялась раздеваться и одеваться, проделав эту процедуру не менее двадцати пяти раз до самого времени, как ее позвали завтракать.

Она очень плохо кушала, и все заметили это, особенно вездесущий Михаил Сидорыч. Но он не выдал ее, а наоборот – высказал печаль, уважение, дружелюбие. Все потчевал ее кофе, предлагал коньяку, но она отказалась.

– Какая-то ты сегодня интересная! – окинула ее взглядом Анна Романовна. Николая Романовича, конечно же, опять не было дома.

Руся вышла в сад.

Часы пробили одиннадцать.

Затем – одиннадцать с четвертью.

Одиннадцать с половиной.

Без четверти двенадцать.

Двенадцать.

Двенадцать часов пятнадцать минут.

Полпервого.

Двенадцать сорок пять.

«Он не придет, он уедет, а в Мюнхене мне его уже не сыскать, потому что он – старый конспиратор...» Эта мысль вместе с кровью так и бросилась ей в голову и чресла. Она почувствовала, что дыхание ее захватывает, что она готова зарыдать.

Один час.

Час с четвертью.

Час тридцать минут.

Без пятнадцати два.

Два!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Руся, как подстреленная чайка, упала на землю, но не в обморок, а чтобы послушать ухом, не идет ли любимый. Любимый все не шел. Тогда она сама встала, надела первую попавшуюся под руки шляпу и вышла с территории родного дома, держа курс на виллу Вальдберта.

XVIII

Руся шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она никого не пугала, она просто хотела увидаться с Инсанахоровым.

А между тем на озере разыгралась непогода, в воздухе грохотал гром, в небе сверкали молнии, по водной поверхности перемещались волны размером с девятиэтажный панельный дом.

Руся была не из трусливых, хорошая спортсменка, пловчиха, но и она была вынуждена спрятаться в склеп, который вырубili в скале древние германские монахи, чтобы отправлять свои религиозные обряды. Там, в темноте, – кто бы мог подумать! – она встретила ту самую нищенку, которой уже однажды подала дойчемарку. К удивлению Руси, старушка заговорила на чистом и певучем русском языке.

– Да, русская я, девочка ты моя добрая, – певуче заговорила старуха. – Мой батюшка покойный был полицаем у гитлеровцев на оккупированной территории, а я вот таперича мыкаю горечко одна в еттой неметчине, охохонюшки...

Руся снова дала ей денег, и старушка приободрилась.

– Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной со старухой лукавить. Эх, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи помилуй! Чую! Чую! Чую! Се жених твой грядет, человек хороший, не сволота какая паскудная, ты уж

держися его одного, крепче смерти держися...

С этими словами она, поминутно крестясь и охая, неизвестно отчего, как ошпаренная, выскочила из пещеры, в которую тут же зашел... Инсанахоров.

В первую минуту он не узнал Русю, но она-то узнала его сразу, любящее сердце подсказало ей – это он!

– Это вы? – спросила она.

– Это я, – ответил Инсанахоров.

– Вы шли от нас?

– Нет, не от вас.

– Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

– Да.

– Как?

– Так.

– Помните?

– Не помню.

– Знаете, куда я шла?

– Не знаю.

– Я шла к вам.

– Ко мне?

Руся закрыла лицо.

– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, – прошептала она, – вот... я сказала.

– Руся! – вскрикнул Инсанахоров. – Откройте лицо! – Она открыла лицо, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее – и молчал. Ему не нужно было гово-

рить ей, что он ее любит, потому что он ее тоже любил. Он молчал, и ей не нужно было слов. Он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшую ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство неизъяснимой благодарности разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведенные слезы навернулись на его чистые глаза.

– Ты пойдешь за мной всюду?

– Всюду, на край земли.

– Ты знаешь, что я – советский, что мне суждено жить в СССР?

– Знаю, знаю.

– Что мне... нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижениям. Нас могут посадить в психиатрическую больницу или осудить за так называемую «антисоветскую деятельность».

– Знаю, все знаю... Я тебя люблю.

– Что тебе *для дела*, возможно, даже придется вступить в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза?

Она положила ему руку на губы.

– Я люблю тебя, мой милый.

– Так здравствуй же, – сказал он ей, – моя жена перед людьми и перед Богом!

Ласково приподнял ее голову, пристально посмотрел ей в глаза и расстегнул верхнюю пуговичку ее блузки.

XIX

Час спустя Руся с распущенными мокрыми волосами тихо входила в гостиную. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость – да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Евгений Анатольевич сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

– Чего? – спросил он, удивившись. – Смешинка нам в ротик попала?

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать мерзкую харю Евгения Анатольевича.

– По лбу!.. – промолвила она наконец. – Плашмя... хлюп!

Но Евгений Анатольевич даже бровью не повел и продолжал разинув рот глядеть на Русю. Она уронила на него несколько капель со своих мокрых волос.

– Милый Евгений Анатольевич, – проговорила она, – я теперь спать хочу, я теперь устала, – и она опять засмеялась, упорхнув, как птичка, в свою комнату.

– Ябеныть... – зачесал Евгений Анатольевич свою лысину. – Во дает. Это надо же, да...

А Руся глядела вокруг себя и думала: «Германия, папаша – черт с ними, а вот мамашу жалко, ведь я скоро должна со всем этим расстаться». Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастья лежала и на нем. «О, как я стала

счастлива! Как незаслуженно! Как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась.

К вечеру она стала задумчивее, потому что вдруг сообразила: не скоро, ой не скоро увидится она с Инсанахоровым. Ведь они договорились так – чтобы никто ничего не понял. Инсанахоров уезжает в Мюнхен, приедет к ним в гости раза два до осени, но, если будет можно, назначит ей свидание где-нибудь около Фелдафинга, пока тепло. Грустно стало Русе.

К чаю она сошла в гостиную и застала там всю компанию за исключением, разумеется, Николая Романовича. Михаил Сидорыч пытливо вглядывался Русе в лицо, пытаясь понять, случилось ли уже то, о чем он догадывался, или случится немного позже. Скоро пришел Владимир Лукич, выглядевший на этот раз чуть болезненнее, чем всегда. Он сказал, что Инсанахоров срочно уехал в Мюнхен, но всем кланяется и всех любит, после чего тоже стал пытливо вглядываться Русе в лицо. Анна Романовна охала и горевала, но Руся решила схитрить и сделала вид, что ей на эту несомненную новость (про Инсанахорова) наплевать. Она притворялась столь искусно, что Владимир Лукич пришел в недоумение – неужели его в этот раз опять подвел его громадный жизненный опыт? В замешательстве он пустился в нелепый спор с Михаилом Сидорычем о текущей политике, в частности о том, как ци-

визированный мир должен относиться к тем переменам, которые медленно, но несомненно назревают в СССР и которые обычно связываются с именем Михаила Горбачева. У Руси же все поплыло перед глазами, как будто она покурила марихуаны: и самовар на столе, и грязные кроссовки Евгения Анатольевича, и ростовой портрет военного, и библейский лик Сарры. Жаль ей было всех, всех, всех людей в мире, что они все неправильно живут.

– Ты спатиньки хочешь, мышонок? – спросила ее мать. Она не слышала вопроса матери.

– А я верю! Верю в грядущую перестройку! – вдруг взвизгнул Михаил Сидорыч. – Мы пойдем другим путем, чем ходил ты, мудака!

– Тсс! – Владимир Лукич приложил палец к губам. – Не ори, козел, не видишь, что все уже спят.

Действительно, все уже спали. Храпел прямо в кресле Евгений Анатольевич, раскрыла рот Сарра, посвистывала носом Анна Романовна.

Не говоря уж о Русе, которая спала так, как спит только что выздоровевший психический больной, когда санитар сидит возле его кровати, и смотрит на него, и слушает те обрывки бреда, которые еще доносятся порой из его измученного, но уже сознательного рта.

XX

– Спят, как зарезанные, – констатировал Михаил Сидорыч и пригласил Владимира Лукича к себе в комнату, обещая показать ему «что-то интересненькое».

Комната располагалась во флигеле и являла собой самый нелепый беспорядок, какой только можно представить у интеллигентного человека. Везде были разбросаны пустые бутылки, рукописи, рваные газетные листы, фотографии, рубашки, носки, трусы.

– Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, – заметил Михаилу Сидорычу Владимир Лукич.

– Стараемся помаленьку, – ответил польщенный Михаил Сидорыч, но тут же посерьезнел, спохватившись: – Я, впрочем, человек сугубо практический, не витаю в эмпиреях, как некоторые. Смотри!

И он потряс перед самым носом Владимира Лукича целой стопкой густо исписанных на пишущей машинке листов.

– Здорово! – не удержался Владимир Лукич от похвалы.

– Да, да. Я не такой, как некоторые подлецы, которые по новейшей эстетике пользуются завидным правом сочинять всякие мерзости, возводя их в перл создания, – скромно ответил Михаил Сидорыч. – Здесь – мой труд об инакомышлении. Простой, как и все гениальное.

– Прости, но я сейчас не смогу его прочитать. Я все Ав-

торханова осилить не могу, у меня очки сломались, – схитрил Владимир Лукич.

– А мой труд и не нужно читать. Это «труд про труд», извини за каламбур, – рассмеялся Михаил Сидорыч, довольный неизвестно чем.

Владимир Лукич пришел в восторг:

– Про труд? Это я люблю. Это еще мой отец любил, и я люблю.

– Да. Мысль у меня простая, и она, конечно же, не понравится многим лодырям и болтунам, с одной стороны, а с другой – людям, порой вполне уважаемым, которые в силу своей ограниченности и догматизма явно отстали от колесницы истории и хер ее когда догонят.

– Не надо материться, уже поздно, – мягко остановил его Владимир Лукич.

– Да я просто волнуюсь. Так вот. Мысль у меня простая: советская система, конечно же, показала полную свою неспособность развиваться дальше, но она существует *объективно*. Поэтому нужно лишь лучше всем работать, и тогда все будет хорошо. Если прибавим в работе в два раза, будем жить лучше в два раза, если прибавим в работе в три раза, будем жить лучше в три раза, если в четыре – в четыре.

– И это все? – спросил Владимир Лукич.

– Все, – ответил Михаил Сидорыч.

– А как же борьба классов, последствия развития коммунизма в России?

– А мы объявим приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и последствия развития коммунизма в России будем считать базисом, над которым возведем свою надстройку.

– Ну что же, задумка у тебя хорошая, – искренне сказал Владимир Лукич. – Вижу, что у тебя есть много здравых идей и толковых наработок.

– Но если во мне их нет, – мрачно проговорил Михаил Сидорыч, – то в этом будет виновата... одна известная тебе особа.

– Скорее наоборот, твой выдающийся труд сублимирован неутоленным влечением к упомянутой... особе, – лукаво возразил ему Владимир Лукич. – Да полно, брат, нынче в ее сердце советская диссида царствует...

Прятели расхохотались, крепко пожали друг другу руки и разошлись.

XXI

Первым ощущением Руси, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? Неужели?» – спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлынули на нее... она потонула в них, ее опять осенило это восторженное блаженство.

Однако в течение утра ею вновь овладело беспокойство, перешедшее в следующие дни в состояние тревоги, страха. Она считала, что теперь она уже замужем, но от этого ей не было легче. Ей было тяжело. Она пыталась начать письмо к Инсанахорову, но и это ей не удалось: она внезапно как бы даже разучилась писать по-русски. Дневник свой она хотела сначала порвать, но потом решила сохранить его для потомства. Как ни в чем не бывало пить чай с вареньем, беседуя с маменькой, казалось ей не то преступным, не то фальшивым. Она даже хотела рассказать маме обо всем, но потом, подумав, решила пока этого не делать. «Зачем я здесь, когда мне надо быть там, в Мюнхене, со своим мужем? Что за бред? Ведь я не тургеневская слезливая барышня, я – совершеннолетнее, юридически самостоятельное лицо, имеющее паспорт», – недоумевала она, не в силах решить эту сложную морально-нравственную проблему.

Она вдруг стала дичиться всех, даже полоумного Евгения Анатольевича, который тоже, в свою очередь, чегой-то по-

следнее время совершенно одичал и только чесал лысину да трескал водку. Окружающее стало казаться ей кошмаром, а другие – адом, как у Ж.-П.Сартра. Иногда ей становилось со-вестно и стыдно своих чувств, но ненадолго. Она стала слы-шать голоса. «Это твой дом, твоя семья», – твердил ей один голос. «Нет, это не твой дом, не твоя семья», – возражал дру-гой голос.

«Беда только началась, а ты уже засбоила. То ли ты обе-щала Инсанахорову?» – упрекал ее третий голос.

Однако не прошло и нескольких недель, как ее здоровая, сильная, цельная натура победила депрессию и фобии без какого-либо медицинского вмешательства. Такова сила люб-ви, настоящей любви, которая одна только может победить почти все на свете! А кто не верит в любовь, в то хорошее, что несет она людям, кто не верит в гуманизм, тот негодяй, подлец и говнюк, которого нужно побивать камнями, чтоб на него плевали дети и его же кусали собаки. Таких людей нуж-но выводить на чистую воду, где они скоро подохнут, при-выкнувши жить в смрадных помоях безверия и цинизма!

Руся немного успокоилась и привыкла к новому своему положению жены, муж которой сутками находится неизвест-но где. Она написала два длинных письма Инсанахорову и сама отнесла их в общественную уборную на станции Фел-дафинг, спрятав их в укромном месте, откуда Инсанахоров должен был забрать их, как они сговорились еще тогда, в склепе древних германских монахов. Для этого ей пришлось,

поборов свою стыдливость и гордость, переодеться мужчиной, потому что она в такой щекотливой ситуации не могла довериться уже никому. Она и еще несколько раз ходила в уборную, но ответа все не было и не было, хотя писем не было тоже, из чего она сделала вывод, что вместо ответа в Фелдафинге скоро объявится сам адресат ее посланий...

...Но вместо него в одно прекрасное утро в гостиной уже сидел ее папа Николай Романович, когда Русенька, измученная и похорошевшая, с большими синими кругами под глазами спустилась в своем красивом пенюаре к завтраку.

XXII

Еще никто в доме Николая Романовича не видел его таким важным и торжественным, как в тот день. Он сидел за столом в пальто, шляпе и пил портвейн из двухсотграммового граненого стакана.

Анна Романовна, Сарра, Евгений Анатольевич, присоединившаяся к ним Руся – все они с любопытством глядели на него, ожидая хоть какой-нибудь его реплики.

Николай Романович допил стакан и вдруг, к удивлению всех, заговорил по-французски. А они и не знали, что он владеет и этим языком!

– *Sortez, s'il vous plait*, – процедил он сквозь зубы и прибавил, обратившись к жене: – *Et vous, madame, restez, je vous prie*⁸.

Все вышли, кроме Анны Романовны. У ней голова задрожала от волнения, и на секунду ей помнилось, что муж ее окончательно сошел с ума и сейчас же ее изнасилует. Но дело оказалось совершенно не в этом.

– Что вы смотрите на меня, как Ленин на буржуазию? – удивился он. – Я только хотел предупредить вас, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

– Только и всего? – Анна Романовна не смогла скрыть разочарования. – Что же вы не дали людям доесть их куски

⁸ Выйдите, пожалуйста, а вы, сударыня, останьтесь, прошу вас (*франц.*).

яичницы?

– Вас это удивляет. Погодите удивляться. Имя этого человека Борис Михайлович. Фамилия Апельцин-Горчаков.

– Ну?

– Гну! – рассердился Николай Романович. – Вы не знаете этого человека, но вы его очень скоро хорошо узнаете. Он – крепыш с Урала, из города Лысьвы.

– С какого еще Урала?

– Который в Совдепии, старая вы... – Николай Романович хотел сказать грубое слово, но удержался, – старая вы моя любовь. Неужели до сих пор ничего не понятно?

– Да чего же должно быть понятно, когда вы ничего совершенно не объясняете?

Николай Романович закрыл глаза, внутренне сосредоточился и заговорил, не открывая глаз:

– Я всегда знал, что вы не верите мне, будто я – царь. Пожалуйста, не опровергайте это, – топнул он ногой, обутой в башмак «Кларкс». – Но суть не в этом. Путь мой к престолу затруднен по независящим ни от кого обстоятельствам, но наша семья еще всем покажет, где раки зимуют. Мы еще пронесем знамя своей семьи от Москвы до самых до окраин...

«Что значит весь этот бред?» – думала Анна Романовна.

– А то и значит... – Николай Романович как бы ловил ее мысли, – что господин Апельцин-Горчаков может жениться на нашей Русе. Пора ей покинуть свои туманы и выйти из об-

щества разных писак, философов да всяких сомнительных *диссидентов*, хоть они и лауреаты Нобелевских премий.

– Чего, чего? – Анна Романовна не верила своим ушам.

– Того, что этот прекрасный человек, породнившись с нами, имеет шанс тоже стать русским царем. Я сказал ему об этом. Он изрядно образован, служил в райкоме партии, играл в баскетбол, держал ларьки на Рижском рынке, теперь возглавляет совместное предприятие с ограниченной ответственностью, торгующее компьютерами и «ноу-хау». Представь, он изобрел особый вид компьютера, который может писать художественные произведения, и вот-вот продаст его на Западе за миллион долларов. Он часто бывает за границей, его уважает правительство. И России, и Германии.

– Помилуй, Коля, я без предрассудков, но ведь он, наверное, еврей, не говоря уже о том, что был коммунистом.

Николай Романович чуть смутился, но ненадолго.

– А кто тебе сказал, что еврей не может быть русским царем? – с вызовом ответил он. – Компьютерами он торгует, разумеется, для отводу глаз, а на самом деле он борется за свободу России, как и все мы. К тому же, может быть, он и не еврей вовсе – ведь он, я забыл тебе сказать, потому что ты меня все время перебиваешь, ведь он является родственником того моего родственника, который скрывается от коммунистов на Байкале и пишет патриотические произведения... А вы, я вижу, только на словах пропагандируете интернационализм, а на самом деле – уж не являетесь ли вы сама ан-

тисемиткой?

Анна Романовна и заткнулась, а Николай Романович молодецки выпрямился, зачем-то щелкнул каблуками и отправился гулять в сад.

И действительно – Апельцин-Горчаков, конечно же, явился к ним обедать.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Руся Инсанахорову:

«Поздравь меня, милый Андрюша. У меня вдруг объявился жених, которого где-то сыскал папенька, очевидно, в советском консульстве, куда он недавно залетел по пьянке. Этот малый явно какой-то гешефтмахер и, очевидно, гебист, потому что выправка у него явно военная. Губы у него большие – не так, как у тебя, и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то, точно он всегда находится при исполнении служебных обязанностей. За столом сперва зашла речь о кооперативах и совместных предприятиях в СССР, и Михаил Сидорыч назвал его мудаком, который в этом ничего не смыслит. Папаша, который благоговеет перед женихом, устроил Михаилу Сидорычу ужасный скандал, а заодно облаял и Владимира Лукича, назвав его Лениным, чего, как ты знаешь, Владимир Лукич терпеть не может и сразу же начинает драться. Но господин Горчаков, к его чести, ни на что не обиделся и даже разнял драчунов, обещая всех пригласить в СССР на медвежью охоту и в сауну... Он уехал поздно, и мамаша успела мне сообщить, что я ему, видите ли, понра-

вилась. Козел! Я чуть было не ляпнула мамаше, что “другому отдана и буду век ему верна”. О мой милый! Как я тебя люблю!»

XXIII

Недели через три после первого посещения Апелъци-на-Горчакова Анна Романовна, к великой радости Руси, свалила в Мюнхен, потому что у нее, во-первых, заболели зубы, а во-вторых, туда прибыл какой-то евангелический проповедник из Южной Кореи, который устраивал для пожилых дам философические сеансы под общим девизом «К новой жизни – через блаженство», что, разумеется, не могло не привлечь внимания Анны Романовны.

«Жених» приезжал два раза, в другие дни он был занят, все вертясь вокруг советского консульства в компании каких-то других сомнительных фирмачей, которые, как мухи, облепили Германию, лишь только в Москве коммунисты заговорили о перестройке. Руся не разговаривала с ним, а Сарра не только разговаривала, но даже очень сильно его любила, глядя на его мужественное смуглое лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи обо всем на свете. Инсанахоров не появлялся в семейном кругу, но Руся несколько раз встречалась с ним в том самом склепе, где они стали мужем и женой. Они едва успевали сказать несколько слов друг другу. Михаил Сидорыч возвратился в Мюнхен вместе с Анной Романовной, а Владимир Лукич, наоборот, остался в Фелдафинге, потому что глупо было терять стипендию и прекрасное жилье. Таким образом, почти все русские

дачники оказались в городе, кто где, по разным квартирам.

Инсанахоров, запершись у себя, по третьему разу перечитывал письма, доставленные ему из СССР с «оказией»; по почте их теперь посылать не боялись, но зато на почте их теперь со страшной силой воровали, ища вложенную туда бумажную валюту. Инсанахоров был очень встревожен последними событиями. СССР разваливался на глазах, сепаратистские, националистические, ура-патриотические настроения волновали все умы. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится. Сердце Инсанахорова сильно билось: его надежды сбывались! «Но не рано ли? Не напрасно ли? – думал он, стискивая руки. – Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Вдруг у него в комнате оказалась Руся. Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней, взял ее за руки, и они принялись сладко целоваться.

– Постой, – сказала она, ласково отнимая у него руку, – давай сначала поговорим о деле. Это что за письма?

– Из СССР. Друзья мне пишут, они меня зовут.

– Теперь? Туда?

– Да... теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг обвила ему обе руки вокруг шеи.

– Ты возьмешь меня с собой? Разве жена расстанется с мужем?

Инсанахоров с удвоенной силой заключил ее в свои объятия.

– Тут нужны деньги, виза, – казалось, размышлял он.

– Деньги у меня есть, – перебила Руся. – Пара сотен долларов в ридикюле.

– Ну, это немного, – заметил Инсанахоров, – а все сгодится.

– А кроме того, – вдруг осенило ее, – в СССР ведь, наверное, тоже принимают кредитные карточки?

– Не в деньгах дело, Руся! Виза! Как с визой быть?

– Что-нибудь придумаем, милый... Ты лучше скажи, неужели ты не подозревал *тогда*, что я тебя любила?

– Честью клянусь, Русенька, даже и в голову прийти не могло...

Прошло сорок семь минут. Она быстро и неожиданно поцеловала его напоследок.

– Ты не можешь больше оставаться? – грустно спросил Инсанахоров.

– Нет, мой милый! Лучше приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет тоска зеленая, да делать нечего – по крайней мере увидимся. Прощай! Выпусти меня! – Он обнял ее в последний раз. – Ай! Смотри, ты мою цепочку сломал. Кстати, я тебе забыла сказать, *товарищ* Горчаков, вероятно, на днях сделает мне предложение. А я сделаю ему... вот что... – Она, согнув одну руку в локте, с помощью другой руки показала, что она сделает Горчакову. – Прощай... Теперь я к тебе дорогу знаю... А ты не теряй времени, придумай что-нибудь с визой.

«Чем я заслужил такую любовь? – думал он, когда она ушла, лежа в своей бедной, но красивой комнате на кожаном диване и закрыв глаза рукой.– Не сон ли все это?»

Но лишь тонкий запах «Шанели № 5», оставшийся на память о теплоте и свежести ее тела, был ему ответом.

XXIV

Инсанахоров решил действовать. Дело было очень трудное. Собственно, для него лично дело было очень легкое – садись в поезд да поезжай в СССР, коли деньги есть. Но как быть с Русей? Добыть ей визу законным путем вряд ли представлялось возможным, и следовало искать каких-либо окольных путей.

Он тогда направился за советом и поддержкой к одному хитрому старичку, тоже из русских. Старичок этот, не то законсервированный шпион, не то действительно невозвращенец, слыл опытным докой по части всяких подобных темных дел. Проживал он очень далеко от квартиры Инсанахорова, практически уже в другом городе.

Инсанахоров долго шел крутым берегом реки Изар, любясь окружающим закатом, но по дороге с ним случилась беда. Думая о судьбах России, он поскользнулся и упал в холодные осенние воды этой быстрой альпийской реки. зуб на зуб не попадал у Инсанахорова, когда он пришел к старикану и уселся у его жарко горящего камина, распространяя запах прели и сырости.

Инсанахоров вкратце изложил ему суть проблемы, но старичок заюлил, захитрил, взялся угощать его ромом и все намекал, чтобы визитер прямо сказал ему, «о какой именно это интересной особе идет речь», где она живет, каковы ее ан-

кетные данные, есть ли у нее родственники в СССР. Намекал на какие-то свои давние связи в советском посольстве в Бонне, запросил крупную сумму в валюте, в общем, оставил в Инсанахорове, с одной стороны, чувство гадливости, а с другой – твердую уверенность, что это фуффло ничего не сделает, а только будет вешать лапшу на уши да тянуть с влюбленных дойчемарки и «грины». Одна польза, что он у старого хрыча хоть немного обсушился и изрядно выпил. Они даже немного попели ностальгических песен Высоцкого, Галича и Окуджавы (по алфавиту), прежде чем Инсанахоров ушел.

С этим тяжелым чувством явился он к Русе. Анна Романовна встретила его ласково, Николай Романович глядел на него насмешливо и посвистывал, зная, что скоро придет Апельцин-Горчаков, Михаил Сидорыч почему-то все вызверивался волком, и лишь Руся была весела, как пташка Божия. Она и сама ощущала, что весела, как пташка Божия, отчего ей захотелось подразнить его.

– Ну что? – спросила она вдруг при всех. – Достали вы для меня визу?

– Какую визу? – смутился Инсанахоров, поперхнувшись горячим сладким чаем, который она ему налила.

– А вы забыли? – Она смеялась ему в лицо. – «Виза»! Ведь так называется составленная вами советская хрестоматия для русских.

– The pair of idiots⁹, – пробормотал сквозь зубы Николай

⁹ Пара идиотов (англ.).

Романович.

Явился Апельцин-Горчаков, и Сарра грянула на фортепиано «Будь проклята ты, Колыма!». Руся едва заметно пожала плечами и указала глазами Инсанахорову на дверь, как бы намекая на то, чтобы он шел домой. Потом она два раза, через паузу, икнула, и он понял, что она ему назначает свидание через два дня, а она поняла, что он ее понял, и снова улыбнулась любимому.

Инсанахоров задержался еще на несколько минут, чтобы внимательно рассмотреть и по возможности запомнить лицо своего «соперника», которому его не сочли нужным даже представить и которого уже сжимал в почти отцовских объятиях Николай Романович, а «жених» комически отбивался и возводил глаза горе. Инсанахоров тихо вышел, подмигнув Русе, а Михаил Сидорыч подумал-подумал и вдруг яростно заспорил с Борисом Михайловичем о структурной политике Союза писателей СССР, сказал, что теперь в одной Москве существует шесть Союзов писателей СССР. Горчаков ответил, что он – практический человек, бизнесмен новой формации и что в искусстве он ничего не смыслит.

Инсанахоров не спал всю ночь, взволнованный встречей с Русей,пил воду с алкозельцем, а наутро опасно заболел воспалением легких. Со страшной силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы, закружились мысли.

У него начались видения. Ему чудились то швед Нобель, основавший мирную премию своего имени на динамитные

деньги, то хитрый старик шпион-невозвращенец, то громадная, залитая красной краской карта СССР, которая ширилась, пухла, росла, а потом вдруг съежилась, как шагреновая кожа, и повисла на каком-то острие белыми лоскутками, как презерватив, который надули хулиганы-школьники, а другие хулиганы-школьники проткнули его иголкой.

XXV

– К вам какая-то немка прикандехала, но по-русски болтает, – сказал Владимиру Лукичу его сосед по вилле Вальдберга знаменитый вьетнамский художник, обучившийся русскому языку в советской тюрьме, где он сидел за спекуляцию антиквариатом. – Хотела ломануться, да я ей сказал: «Цыц под лавку, отзынь, не мяучь, пойду сначала спрошу...»

Оттолкнув его, в комнату ворвалась заплаканная, но энергичная дама в больших роговых очках и кожаной куртке из настоящей кожи.

– Володя, привет, – без обиняков начала она. – Я вернулась с острова Сахалин, где путешествовала по местам Чехова, хотела угостить всех свежей красной икрой, зашла, а он... лежит, закрыв глаза. Я сначала думала – спит, потом, что – СПИД, потом, что – наркотики... И вдруг поняла: дело табак, у него либо инфлюэнца, либо пневмония.

Владимир Лукич в волнении вскочил, сразу же узнав в посетительнице Белую Розу, хозяйку той квартиры на Имплерштрассе, где скрывался Инсанахоров.

– Я хотела везти его в больницу, но он ни в какую. Бредит. Говорит о конспирации, о том, что у него нет медицинской страховки. Я сказала, что оплачу страховку, что это недорого, но он не верит мне, принимает меня за Розу Люксембург, хотя и узнал меня. Ты должен принять в нем участие, я дого-

ворилась с одним парнем, медицинским студентом. Он поможет нам.

Вскоре они уже столпились вокруг больного, лежавшего на диване. Лицо его страшно изменилось. Медицинский студент внимательно смотрел на больного.

– Доктор, он будет жить? – не выдержал Владимир Лукич.

– Сомневаюсь, – ответил доктор. – Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен. Хотя... «орешек крепкий», может, выкарабкается.

Он прописал больному разом пиявки, мушки, каломель и пустил ему кровь.

– Я ведь знаю светлое имя этого человека, – сказал он, отдыхая. – Я ведь – не настоящий студент, я – дипломированный врач, закончивший медицинский институт в городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. Но мой диплом здешние не признают, и я вынужден доучиваться, как Ломоносов, среди детишек.

Белая Роза заплакала и ушла на кухню, чтобы сварить для больного сосиски, но он, на секунду придя в сознание, наотрез отказался от вкусной еды.

– Я, кажется, еще немножко болен, – попытался сострить он, но потом снова впал в беспамятство и выкарабкаться оттуда на сей раз уже не смог.

Проанализировав все вышеизложенное, Владимир Лукич решил поселиться у больного, пока тот не выздоровеет либо

не помрет. Он съездил домой, переоделся в костюм-тройку, захватил с собой несколько хороших, умных книг и устроился подле головы Инсанахорова.

Настал вечер. Все было тихо вокруг. Роза Вольфовна теперь поселилась на кухне, откуда временами доносились ее сдержанные всхлипывания, но потом она усилием воли брала себя в руки и вновь неслышно шуршала страницами, переводя на немецкий рукопись очередного «гения» из преследуемых в СССР.

Владимир Лукич взялся за книгу. «Происхождение партократии» он давно уже осилил и теперь читал «Номенклатуру» Восленского. Эта книга тоже нравилась ему, хотя он со многим в ней не был согласен, делая на полях карандашные пометки – «чушь», «туфта», «звучит неубедительно», «а сам-то ты кто такой?».

Вдруг дверь тихо скрипнула, и в щели, образовавшейся от ее частичного раскрытия, появилось туловище Розы Вольфовны.

– Здесь какая-то женщина, – таинственно заговорила Белая Роза, но тут же исчезла, и в щель вошла... Руся.

Владимир Лукич вскочил, как ужаленный осами, но Руся не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она все поняла в одно мгновение. Зеленая бледность покрыла ее лицо, она всплеснула руками и окаменела.

– Он умер? – спросила она холодно и спокойно.

– Ради бога, Руся Николаевна, зачем сразу «умер», когда

он только умирает. Мы спасем его, я за это ручаюсь.

Она решительно сняла верхнюю одежду.

– Что вы делаете? – не понял Владимир Лукич.

– Я остаюсь здесь.

– Но это невозможно! Здесь негде больше спать.

– А если он умрет без меня?! – воскликнула она, ломая руки.

– Не умрет.

– А вдруг умрет!

– Не умрет! Я вам даю честное слово бывшего дворянина, что мы победим.

– Поклянитесь, что это действительно так, Владимир Лукич.

– Обещаю перед Богом.

– Не обещайте, но поклянитесь.

– Клянусь всем тем ценным, что у меня имеется...

– О, мой добрый друг!

Она вдруг схватила его правую руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

– Руся Николаевна, что это вы? – пролепетал он.

Безмолвные слезы текли по ее щекам. Она еще раз посмотрела на больного и бросилась вон.

– Кто здесь? – послышался слабый голос Инсанахорова.

– Я, Владимир Лукич, – сказал Владимир Лукич.

– Один? – спросил больной.

– Один.

– А она?

– Кто «она»? – проговорил почти с испугом Владимир Лукич.

Инсанахоров помолчал.

– Шанель номер пять, – шепнул он, и глаза его закрылись.

XXVI

Целых девять месяцев находился Инсанахоров между жизнью и смертью. Доктор-студент приезжал беспрестанно, удивляясь живучести больного и не беря за свое искусство ни пфеннига денег. Михаил Сидорыч навестил лежачего с громадным букетом цветов, но тот не узнал его. Приходили и еще какие-то люди – Хольт Мейер из издательства, Дима Добродеев – зарубежный представитель московского журнала «Соло», чешский эмигрант Владимир Блажек, Рената Сако из культур-реферата, но все было тщетно! Инсанахоров как лежал, так и лежал, угасая вроде свечки.

Перелом наступил лишь тогда, когда в квартире, как вихрь, появились те странные фигуры, возбуждившие изумление Владимира Лукича еще в Фелдафинге, на вилле Вальдберта – Попов, Ерофеев, Пригов. Развязные, шумные, самодовольные, они громко заключили в объятия хозяйку квартиры, а потом рывком распахнули дверь комнаты и полезли, громко топая ногами, прямо к изголовью больного.

– Тише! Не забывайте, что вы находитесь у постели умирающего! – Владимир Лукич вытянул вперед руки, оберегая Инсанахорова от этих коршунов, как курица цыпленка.

– А это кто же у нас больной? – визгливым фальцетом удивился один из них, худой, маленький, как гном, с мефистофельской бородкой.

– А вот мы его сейчас вылечим, – с французским прононсом сказал другой, старавшийся выглядеть поприличнее своих спутников, но от которого все равно за версту разило Совдепией и мочой.

– Сибирских пельмешков ему щас полную мисочку с бульончиком да добрый стаканчик питьевого спиртику, – хлопотал третий из них, лысый, бесформенный, в косоворотке, со свежим синяком под правым глазом.

Инсанахоров зашевелился, поднял голову, с недоумением вглядываясь в эти кривляющиеся рожи... И... улыбнулся.

...А Руся в первый день, когда узнала о болезни Инсанахорова, чуть было сама не умерла. Она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Романовна сказала ей: «С таким лицом, как у тебя, краше в гроб кладут». Руся отшутилась, заперлась в комнате, но ей было не до шуток. «Если он умрет, – твердила она, – и меня не станет». Хорошо, что хоть никто ее не беспокоил. Михаил Сидорыч с остервенением стучал на машинке, Сарра предалась меланхолии и часами танцевала в одиночестве какие-то народные танцы. Николай Романович был недоволен тем, что Борис Михайлович не спешит делать предложение Русе, а все больше склоняет будущего тестя шляться с ним по мюнхенским пивным, среди которых он почему-то особенно выделил ту, на Мариенплац, где по вечерам играет женский духовой оркестр. Все эти дни Белая Роза привозила Русе новости от Владимира Лукича о безнадежном положении больного, и каждый раз Руся порыва-

лась тут же бежать к нему, но сдавалась, не в силах нарушить строгий запрет, наложенный Владимиром Лукичом и доктором, которые умолили ее не волновать больного. Уговор дороже денег!

Девять месяцев продолжалась эта пытка. Выглядела Руся уже тоже почти как мертвая: она ничего не могла есть, не спала. Тупая боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Как свечка тает», – шепотом говорили о ней люди.

Наконец на десятый месяц перелом свершился, Руся сидела в гостиной подле Анны Романовны и, сама не понимая, что читает, читала ей вслух «Московские новости», потому что Анна Романовна была неграмотная. Хлопнула дверь, Владимир Лукич вошел. Руся взглянула на него и по его сияющему, плоскому и рябому, как блин, лицу с клиновидной бородушкой тотчас догадалась, что он принес добрую весть.

– Простите, что долго не был у вас. Один мой друг заболел пневмонией, напившись в жару холодного баночного пива, но теперь он пришел в себя, спасен и через неделю опять будет здоров как бык, – громко сказал он, нарочито затемняя существо вопроса в расчете на любопытные уши Анны Романовны. Но она, потрясенная тем, что только что услышала из «Московских новостей», не обратила ровным счетом никакого внимания на информацию Владимира Лукича.

– Какой душка этот Горбачев! Даже не верится, что он – тоже коммунист, – рассеянно обратилась она к Владимиру

Лукичу.

Ибо Руся, конечно же, убежала к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить Бога... Легкие светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку и тут же заснула мертвецким сном с мокрыми ресницами и щеками, отчего-то шепнув перед сном: «Бедный, милый Владимир Лукич! Опять вам не повезло!»

XXVII

Слова Владимира Лукича сбылись только отчасти: опасность миновала, излеченный «спиртиком» и «пельмешками» Инсанахоров восстанавливал силы, но медленно, и доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал шагать по комнате. Владимир Лукич возвратился жить в Фелдафинг, но каждый день заезжал к своему все еще слабому приятелю «поболтать», потом спешил к Русе с докладом о состоянии его здоровья, после чего возвращался к Инсанахорову, где с притворным равнодушием и доброй лукавинкой нес больному всякий бытовой вздор, стараясь дать ему понять, что у Русе хорошее настроение, что она была сильно огорчена фактом его болезни, но теперь успокоилась, как и все они. Этим самым он отдавал дань деликатности Инсанахорова, который пребывал в твердой уверенности, что об их отношениях с Русей не знает никто в целом мире. Бедняга, конечно же, все забыл из того периода своей жизни, когда он пластом лежал в горячке... Болезнь! Разве что-нибудь толковое запомнишь!..

Однажды Владимир Лукич, снова сделав веселое лицо, подмигивая, сообщил Русе, что Инсанахоров уже практически здоров. И даже собирается куда-то ехать, а куда – не говорит. Руся задумалась, потупилась.

– Угадайте, о чем я хочу просить вас? – промолвила она.

Владимир Лукич смутился. Он ее понял.

– Я вас понял, – ответил он, глядя в сторону. – Вы хотите к нему?

Руся покраснела и едва слышно прошептала:

– Да.

– Так в чем же дело? Дорожка вам, как говорится, известная, чай, не заблудитесь, – грубо пошутил Владимир Лукич и подумал: «Какой же я подлец, в сущности, если так грубо шучу!»

– Мне совестно, но я... я хочу, чтобы он был дома один, – снова потупилась Руся.

– Что ж, и это нетрудно устроить, не волнуйтесь, голубушка, – преувеличенно бодро заговорил Владимир Лукич, хотя у него кошки на сердце скребли. – Попов, Ерофеев да Пригов как вылечили больного, так и пьянствуют опять неизвестно где: может, в своей Совдепии, а может, уже и в своей же свободной России, – ухмыльнулся он и тут же посерьезнел: – Напишите ему тайную записку, чтобы еще раз пощадить гордость гордеца. Ведь он – чисто дитя, до сих пор от меня таится. Ну ничего, завтра мы все это обсудим втроем.

– Мне еще раз совестно, я еще раз извиняюсь, но... пожалуйста, не приходите к нему завтра. А также выведите под любым предлогом из квартиры фрау Розу. Отправляйтесь с ней, например, в Мурнау, в музей Кандинского или просто пиво пить ступайте. Лады?

– Лады... – Владимир Лукич закусил губу, молча кивнул и, пробурчав под нос два-три нехороших слова, удалился.

«Очень, очень красиво! – думал он, садясь на остановке “Остбанхоф” в вагон S-бана. – И чего я к ним лезу? Мне что, больше всех надо? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне абстрактный гуманизм велел, но теперь – увольте! Пусть их, белую кость! Недаром говаривал мне отец: мы с тобой, брат, не тунеядцы, а труженики, труженики и еще раз труженики. Прав отец! Трижды прав по числу употребленного им слова “труженики”! Так надевай же свою старую телогрейку, труженик, продолжал отец, и ступай в лес пилить древо познания. То есть читай книги, копи силы, потому что рано или поздно ты, сынок, станешь вождем угнетенного человечества. Мрак у тебя в душе? А ничего! Лучи солнца – пусть ими довольствуются те, *другие!* Пусть солнце им сияет. Но ведь и в нашей, глухой, как танк, жизни есть своя гордость и свое счастье, недоступные этим буржуям, в какие бы одежды они ни рядились! Ведь только мы, коммунисты, *действительно* думаем обо всех, говоря словами нелюбимого тобой Достоевского, “униженных и оскорбленных”».

На другое утро Инсанахоров обнаружил подsunутую под дверь короткую записку. «Жди меня, и я приду, – писала ему Руся. – А В. Л. не придет».

Он так и не узнал, кто доставил ему эту записку. И мы не знаем. И никто не знает. Потому что все знает только Бог.

XXVIII

Инсанахоров прочел записку Руси, ноги у него подкосились, он опустился на диван и стал считать: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...» и так далее.

Когда он досчитал до тысячи ста одиннадцати, дверь распахнулась и в легкой шелковой блузке, вся молодая, счастливая, свежая, как персик, в комнату вошла, нет – ворвалась! – Руся и с слабым радостным криком упала ему на грудь.

– Ты жив, и ты опять мой, – твердила она, обнимая и лаская его голову, отчего он даже стал немного задыхаться.

Ее лицо внезапно опечалилось.

– Ты задыхаешься, ты похудел, мой бедный Андрюша, – сказала она, проводя рукой по его щеке, – какая у тебя борода, почти как у Владимира Лукича.

– И ты похудела, моя бедная Руся, – отвечал он, ловя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

– Это ничего. Мы будем хорошо кушать, поправимся, увидим небо в алмазах...

Он отвечал ей одною улыбкою.

– Но это все прошло, прошло, не правда ли? Все светло впереди, не так ли? – вопрошала она.

– Ты для меня впереди, – ответил Инсанахоров, – ты для

меня «светло».

– Когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти. Но ведь ты здоров теперь?

– Мне гораздо лучше, я почти здоров. Как говорит Владимир Лукич, «практически»!

– Ты практически здоров, и ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

– Еще я что заметила, – продолжила она, откидывая назад его волосы. – Когда человеку волнительно, с каким глупым вниманием он занимается ерундой. Я, например, иногда часами ловила мух, когда душу мою окутывал черный мрак и жег ледяной холод.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

– Андроша, – начала она снова, – а ведь я видела тебя на этом диване тогда, в когтях смерти, без памяти.

– Ты меня видела?!

– Да.

– И Владимир Лукич был здесь?

– Да.

– Он меня спас, – воскликнул Инсанахоров. – Это благороднейший, добрейший человечиче! Даже не подумаешь, что он коммунист.

– Да. И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Это он мне первый сказал, что ты меня любишь.

Инсанахоров пристально смотрел на Русю.

– Он влюблен в тебя, не правда ли?

Руся опустила глаза.

– Он *любил* меня, – подчеркнула она этот глагол. Инсанахоров крепко стиснул ей руку.

– О мы, русские, – сказал он, – золотые у нас сердца! Ведь он мог бы зарезать меня, когда я лежал в беспмятстве, а он вместо этого ухаживал за мной, не спал ночами, давал мне кисель, морс. И ты, мой ангел. Не погнушалась больным человеком. Отчего у тебя на глазах слезы? – перебил он сам себя.

– У меня? Слезы? – Она утерла глаза платком. – О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут.

– Пощади меня... – проговорил Инсанахоров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

– Что с тобой? – заботливо спросила Руся.

– Ничего... я еще немного слаб... Боюсь, что это счастье мне пока еще не по силам. С другой стороны – вся душа моя стремится к тебе, подумай, смерть едва не разлучила нас... а теперь я снова в объятиях, твоих, а не в объятиях смерти!..

Она затрепетала вся.

– Андрон, – прошептала она чуть слышно и еще теснее прижалась к нему. Она только теперь поняла, что он имел в виду, говоря «пощади».

XXIX

Николай Романович, нахмутив брови, ходил из угла в угол, отчаянно скрипя ботинком. Михаил Сидорыч сидел у окна, положив ногу на ногу, и спокойно курил сигарету.

– Перестаньте, пожалуйста, скрипеть, – наконец не выдержал он. – От вашего скрипу у меня мальчишки кровавые в глазах.

– А что мне еще делать, когда моя зазноба уехала на Кавказ к этому... фамилию черт выговоришь... Шерванахурдия... бороться, видите ли, за свободу неизвестно кого. Вот уже октябрь на дворе, а ее все нету. Как вы думаете, что она там делает?

– На солнышке греется, хе-хе-хе, в кавказской зоне субтропиков. Там в это время года довольно сильное солнце, дающее ровный золотистый загар. Правда, стреляют вовсю, но она – иностранка, глядишь, прохилиет со своим паспортом. Кто-нибудь ее *прикроет*, – выделил он последнее слово.

– Смейтесь, смейтесь, а я вам скажу, что женщина она хоть и глупая, но очень, очень хорошая. Неужели она не понимает, как мне без нее трудно? Бессовестная!

– А вот вы, знаете что? Следите за развитием моей мысли. Попробуйте, когда она приедет, ей морду набить. Увидите, сразу станет как шелковая.

Николай Романович отвернулся с негодованием.

– Паяц! Шут! – пробормотал он сквозь зубы.

– Пусть я шут, я паяц, так что же? – отпарировал Михаил Сидорыч строчкой из известной оперетты И.Кальмана «Принцесса цирка». – А правда ли, что господин Апельцин-Горчаков втюхал вам акций своей липовой компании аж на целую тыщу «зеленых»?

– Почему это «втюхал»? Я по договору буду иметь пятьсот процентов годовых.

– В ихних деревянных рублях?

– Ну и что, что в рублях! Рубль скоро станет конвертируемым. Борис Михайлович утверждает, что в результате политики Ельцина, пришедшего на смену Горбачеву, в СССР опять грядут большие перемены.

– Да, свои рубли на ваши доллары он хорошо *переменяет*, этот ваш будущий зятек, – скаламбурил Михаил Сидорыч.

– Никто не уважает меня, никто не считается ни с единым моим словом в этом доме! – вдруг вспыхнул Николай Романович. – Руся целыми днями шляется незнамо где, вместо того чтобы обаять Бориса Михайловича. Вот уйду я из этой жизни, тогда все узнают, какого человека потеряли.

– Великого человека! Великого гражданина! Я, кстати, верю, что вы – действительно царь, Николя!

– Перестаньте паясничать! – воскликнул, побагровев, Николай Романович. – Вы забываетесь!

– Немочка от него сбежала, бедненький... – лениво потянулся Михаил Сидорыч. – «И начал он корезить всех под-

ряд». Ладно, я пошел. Извиняйте, если что не так.

– А вы... вы меня с собой возьмите, – вдруг униженно попросил Николай Романович.

– Куда? – удивился Михаил Сидорыч.

– Ну, туда, на Шиллерштрассе или на Главный вокзал, к публичным девкам, а то я один стесняюсь, – потупился Николай Романович.

– Эх, дорогой! Как говорится, седина в голову, бес в ребро, горбатого могила исправит, повадился кувшин по воду ходить. Я работать пошел. А слухи о моих взаимоотношениях с публичными девками сильно, сильно преувеличены. Я это точно знаю, потому что распускаю их лично я сам.

– Да ну вас тогда к черту! – насупился Николай Романович. Оставшись один, он снова заскрипел ботинками, похмыкал-похмыкал, достал из бювара газовый пистолет, подошел к зеркалу и прицелился в свое зеркальное изображение. Вдруг кто-то кашлянул у него за спиной. Он резко обернулся и чуть было не нажал курок, но... перед ним стоял Борис Михайлович с разукрашенной синяками физиономией.

– Кто это вас? – ошалел Николай Романович.

– Землячки! – криво улыбнулся Борис Михайлович, и губы у него задрожали. – Так называемые писатели – Попов, Ерофеев да Пригов. Я разоткровенничался с ними в пивной за их счет, сказал, что скоро стану... стану вашим тестем и вы дадите мне много денег. А они сказали, что Руся живет с Инсанахоровым и мне ваших денег не видать. Я в спор, они

мне – по роже.

– То есть как это «живет»? – вытаращил глаза Николай Романович, не обращая внимания на слово «деньги», потому что он всегда брал их у Анны Романовны. – Она с нами живет, у ней тут есть комната, койка. Она вместе с нами питается.

– Питаться-то она, может, с вами и питается, а «живет» совсем в другом месте.

До Николая Романовича наконец-то дошло. Кровь прилила к его голове, и он затопал ногами.

– Молчать, бездельник! Как ты смеешь, совок, кооператор херов! Руся Николаевна по доброте своей бедных диссидентов посещает, а ты... Вон, дурак! И если ты, мерзавец, еще что-нибудь на эту тему кому-нибудь пикнешь... я тебя... в полицию... тебя в двадцать четыре часа отсюда.

Борис Михайлович отшатнулся к двери, но из глаз его полились слезы.

– Да ведь я действительно хотел! – взвыл он. – Я думал, Руся – девушка самостоятельная, честная... Я бы и сейчас не отказался, да ведь она не захочет меня, поверьте моему жизненному опыту.

– Не скрою, что я тоже хотел видеть вас в качестве зятя, – сухо подтвердил Николай Романович, – но весь этот скандал – он не выгоден ни мне, ни вам. Успокойтесь, возьмите себя в руки. Ведь вы – мужчина?

Он обнял его за плечи и стал подталкивать к выходу.

– Му-у-жчина! – рыдал Борис Михайлович. – А деньги я вам отдам... потом... тысячу долларов я вам отдам... отдам... не надо мне вашей тысячи долларов...

– Вот и хорошо, – спокойно ответил Николай Романович. – Я вижу, что вы честный человек, и рад, что не ошибся в вас. Ступайте и попытайтесь исправиться.

XXX

Между тем гроза, собравшаяся над СССР, разразилась, и в результате ударов молний эта страна развалилась на отдельные независимые государства, то враждующие друг с другом, то сливающиеся в дружеском поцелуе, как Хонеккер с Брежневым на известной цветной фотографии, которую неизвестный художник скопировал, увеличив, на остатках поверженной Берлинской стены. Уж недалек был день военно-коммунистического путча 1991 года. Последние письма, полученные Инсанахоровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось, он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням.

Розе Вольфовне он объявил, что скоро съезжает, и заранее просил ее на него не сердиться, не поминать лихом за то, что доставил ей столько хлопот. Со своей стороны, Руся тоже готовилась к отъезду: стирала, гладила, копила деньги. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, считая доллары, с невольным унынием прислушивалась к завыванию ветра.

Как вдруг ее позвали к родителям.

– Прошу вас сесть! – Николай Романович всегда говорил

дочери «вы» в экстраординарных случаях, подобных этому.
Руся села.

Анна Романовна слезливо высморкалась. Николай Романович вдруг ударил кулаком по столу.

– Сознаться будем или запираемся? – крикнул он.

– Но, папенька... – начала было Руся.

– Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Ваши предки были русскими царями. Мы с Анной Романовной ничего не жалели для вашего воспитания: ни денег, ни времени. Мы с Анной Романовной имели право думать, что вы по крайней мере свято сохраните те правила нравственности, которые мы в вас впитали вместе с молоком матери. Мы имели право думать, что никакие советские «новые идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной русской святыни. И что же из всего этого у нас теперь получается?

– Папенька, – проговорила Руся, – я знаю, что вы хотите сказать...

– Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! – вскрикнул фальцетом Николай Романович, внезапно изменив плавной важности речи и басовым нотам. – Ты не знаешь, дерзкая девчонка!

– Ради Бога, Nicolas, – пролепетала Анна Романовна. – You are killing me¹⁰.

– I am not your murderer. Our daughter is our natural

¹⁰ Вы меня убиваете (англ.).

murderer!¹¹ – взвизгнул Николай Романович, Анна Романовна так и обомлела.

– Позвольте вас спросить, сударыня, – Николай Романович скрестил руки на груди, – правда ли, что вы находитесь... в интимных отношениях с неким Инсанахоровым?

Руся вспыхнула, и глаза ее заблистали.

– Мне незачем хитрить, – промолвила она, – да, я нахожусь с ним в интимных отношениях, но в этом нет ничего предосудительного – ведь он мой муж.

Николай Романович вытаращил глаза.

– Чего?..

– Мой муж, – повторила Руся. – Я замужем за Андроном Инсанахоровым. Простите меня, мамаша. Две недели назад мы с ним обвенчались в Зальцбурге, в православном храме.

Анна Романовна раскрыла рот, Николай Романович отступил на два шага.

– Замужем! За этим диссидентиком! И ты думаешь, что я это так оставлю? Да я вас обоих сотру в порошок и согну в бараний рог, неблагодарная ты свинья! Да ведь и Зальцбург же – он же ведь в Австрии, – внезапно вспомнил он.

– Папенька, – проговорила Руся (она тоже вся дрожала с головы до ног, у нее тряслись руки, но голос ее был тверд), – Зальцбург действительно в Австрии, но любовь не знает границ и расстояний. Я не хотела огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на бу-

¹¹ Не я ваш убийца. Наша дочь – натуральная наша убийца! (англ.)

душей неделе уезжаем отсюда с мужем. А «свинью» я оставляю на вашей совести.

– Уезжаете? Куда же это, если не секрет?..

– На его Родину, в СССР. Это теперь называется СНГ – Содружество Независимых Государств, по-немецки будет ГУС.

– ГУС! К комиссарам и рэкетирам! – воскликнула Анна Романовна и лишилась чувств. Руся бросилась к матери.

– Прочь! – возопил Николай Романович и схватил дочь за руку. – Прочь, путана!

Но в это мгновение дверь отворилась и показалась бледная голова со сверкающими глазами; то была голова Михаила Сидорыча.

– Николай Романович! – крикнул он во весь голос. – Ваша немка вернулась с Кавказа и зовет вас. Ее немного подстрелили в Пицунде! Прямо в задницу!

Николай Романович с бешенством обернулся, погрозил Михаилу Сидорычу кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.

XXXI

Евгений Анатольевич лежал на своей постели. Мятая хлопчатобумажная фуфайка с надписью *Nu rogodi* расходилась свободными складками на его жирной, почти женской груди, оставляя на виду большой серебряный православный крест. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свеча горела на столе возле кружки с пивом, а в ногах Евгения Анатольевича, на постели, сидел подгорюнившийся Михаил Сидорыч.

– Орал наш царь-батюшка на весь дом так, что прохожие слышать могли, благо по-русски не понимают. Он и теперь рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как дед Павлика Морозова. Но это все пустое, Анну Романовну жалко, хотя и ее, по совести сказать, больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Евгений Анатольевич потер пальцами правой руки лысину.

– Мать... Инстинкт, – проговорил он, – действительно... Ябеньть.

– Так, так. А какой хай поднимется. Но ей – плевать. Уезжает она – и куда? Даже страшно подумать! Что ее ждет там, в этом советском бардаке. Я гляжу на нее, точно она из ванны с бадузаном в ледяную говенную прорубь прыгает. С другой стороны, я ее понимаю. Скучно здесь до чертиков, да и сто-

рона хочешь не хочешь чужая. Пиво вот вкусное, колбаса... Картины в пинакотеке... Но нельзя же вечно жить в гостях. Худо только, что этот ее муж, считай, на ладан дышит. Я тут видел его днями, так хоть в мединститут его помещай в качестве наглядного скелета.

– Это... Это – да, действительно, но – все равно... Значения не имеет... Ябеньть... – заметил Евгений Анатольевич и сильно отпил из кружки.

– Да ведь ей-то пожить с ним захочется.

– Ну и что – поживут, сколько Бог даст, – отозвался Евгений Анатольевич.

– Хорошо, хорошо. Эх, натянуты у них струны! Пой, гитара, покуда струна не лопнет! – Михаил Сидорыч уронил голову на грудь. – Да, – резюмировал он после долгого молчания, – Инсанахоров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто не стоит нашей Руси. Особенно я. Хотя... разве я совсем уж полное говно? Разве Бог меня окончательно обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Дал, все дал. И я уверен, что со временем все будут знать славное имя Михаила Сидорыча! Про меня еще напишут!..

Евгений Анатольевич оперся на локоть и уставился на разгорячившегося оратора.

– Ты это... ты прав... напишут... Про всех нас напишут. Вот сейчас уже кто-нибудь сидит да про нас пишет.

– О любомудр земли русской! – воскликнул Михаил Сидорыч. – Слова ваши на чистый жемчуг, продаваемый спе-

кулянтами, похожи! Я начинаю собирать деньги на вашу стацию. Вот как вы теперь лежите, в этой позе – про которую не знаешь, чего в ней больше, лени или силы? Написать-то напишут, да вот что напишут – это главное. Скорей всего, сочинят какую-нибудь муть голубую... Потому что все мы – мелюзга, грызуны, гамлетики, темнота, глушь подземная, отставной козы барабанщики. А то еще есть среди нас паскуды, волки позорные, которые самих себя только и изучают, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению, и все теоретизируют, теоретизируют... Надоели мы Русе, вот она и свалила в Совдепию. Что ж это, Евгений Анатольевич? Когда же будет наша пора? Когда же придет настоящий день? Когда же кончится этот вечный бардак и начнется нормальная жизнь?

– Дай срок, и все будет о'кей. Все будет – и белка, и свисток, и богатство, и покой, – ответил Евгений Анатольевич и добавил, мучительно шевеля пальцами: – А бардак? Что бардак? Бардак – не худшая из форм существования белковых тел на земле. Так уж нам определено, что мы всегда будем накануне накануне.

– Смотрите же, господин оракул, честная вы мысль, черноземная сила! Золотом режу на сердце ваши слова, как говорят на Востоке... Ай, да зачем же вы свет-то гасите?

– Пошел, пошел, спать хочу, некогда мне с тобой разговоры разговаривать...

XXXII

Михаил Сидорыч сказал правду. Неожиданное известие о замужестве Руси чуть не убило Анну Романовну. Анна Романовна слегла в постель и больше из нее не вставала, по крайней мере когда Николай Романович бывал дома. А он – как с цепи сорвался – шумел, орал, матерился, грозил. «Вы меня не знаете, но вы меня скоро узнаете», – так и слышались его слова изо всех углов. Хорошая Сарра кормила и поила Анну Романовну, читала ей Даниила Андреева, включала телевизор, потому что Николай Романович навсегда запретил всем домашним разговаривать с Русей. Но когда он уходил (а делал он это все чаще и чаще, потому что немку действительно ранили в мягкое место, правда, не в Пицунде, а в Южной Осетии), Руся снова являлась к матери, и они плакали вдвоем. Плакала, глядя на них, и Сарра, которая очень жалела бывшую девушку, хотя в глубине души считала ее душой. «Отвергнуть прекрасного Бориса Михайловича ради кургузого Инсанахорова может только дура», – думала она, хотя и догадывалась глубиной души, что чего-то недопонимает и, наверное, ошибается. Плакали все.

Вот и сегодня – Анна Романовна плакала, пила свое рейнское, с укором посматривая на Русю, и этот немой укор пуще всякого другого проникал в сердце красавицы. И не раскаяние чувствовала она – отнюдь нет, – но глубокоую бесконеч-

ную жалость, похожую на раскаяние.

– Мамаша, милая мамаша, – твердила она, целуя ей руки. – Утешьтесь хотя бы тем, что все могло быть гораздо хуже, то есть я могла бы повеситься, и вы никогда больше не увидели бы меня живую.

– Да я и так не надеюсь больше увидеть тебя. Либо ты кончишь свою жизнь где-нибудь в сибирских концлагерях, либо станешь субреткой новых кремлевских владык, либо... либо я не перенесу разлуки.

– Не говорите так, добрая мамаша, мы еще увидимся. Бог даст. А бывший СССР строит теперь такое же цивилизованное общество, как и здесь.

– Какое там цивилизованное общество! Там война теперь идет, теперь там, я думаю, куда ни пойдешь, все из пушек стреляют... Скоро ты ехать собираешься?

– Скоро, если только папенька... Он все грозит «перекрыть нам кислород».

Анна Романовна подняла глаза к небу.

– Нет, Русенька, я и сама в печали, но сделанного не воротишь. Я не дам ему гадить моей дочери, есть у меня одно средство... последнее средство.

Так прошло несколько дней. Наконец Анна Романовна собралась с духом и в один вечер заперлась со своим мужем наедине в спальне.

Все в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно, потом загудел голос Николай Романовича, завязал-

ся спор, поднялись крики, почудились даже стенания... Уже Михаил Сидорыч вместе с Саррой собирались снова явиться на выручку, но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в мертвую тишину и умолк. Только изредка раздавалось слабое рычание, ритмические поскрипывания, но затем и это все прекратилось. Зазвенели ключи, двери растворились, и появился Николай Романович. Поправляя развязавшийся галстук, приглаживая растрепавшиеся волосы, он сурово посмотрел на всех и отправился вон со двора. А Анна Романовна тотчас потребовала к себе Русю, крепко обняла ее, стыдливо покраснела и, залившись горькими слезами, промолвила:

– Все улажено, он не будет больше подымать хвост, и никто теперь не помешает тебе уехать... бросить нас.

– Вы позволите Андрону в знак благодарности прийти к вам с букетом цветов? – спросила ее Руся, когда мать немного успокоилась.

– Подожди, душа моя, мне теперь не до цветов. Не могу пока видеть... этого Казанову, перед отъездом успеется.

– Перед отъездом... Отъезд... – печально, как эхо, повторила Руся.

А Николай Романович действительно согласился «не поднимать историю», но добрая Анна Романовна не сказала дочери, какую цену он положил своему согласию. Она скрыла, что обещалась ему вопреки своим философским убеждениям возобновить с мужем регулярную половую связь, хотя са-

ма мысль об этом вызывала у нее отвращение, поскольку она никогда не испытывала с ним оргазма.

Сверх того Николай Романович решительно объявил Анне Романовне, что не желает встречаться с Инсанахоровым, которого продолжал величать «засранным диссидент-тишкой».

Плохо он поступал? Конечно! Но нужно понять и Николая Романовича, потому что каждому человеку хочется в жизни своего, личного счастья!

Все у него внутри ныло, когда он отправился прямо из дома в пивную. «Вы слышали, – промолвил он с притворной небрежностью случайному соседу по стойке, – дочь моя, романтическая особа, вышла замуж за какого-то видного советского инакомыслящего, они там, кстати, теперь в большом почете, их выбирают в парламент, дают им квартиры, акции, земельные участки».

«Ich verstehe nicht»¹², – ответил ему сосед, и они перешли на немецкий.

¹² «Не понимаю» (нем.).

XXXIII

А день отъезда приближался. Ноябрь уж наступил, проходили последние сроки. Инсанахоров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Мюнхена. И доктор его торопил. «Вам нужен настоящий советский мороз, – говорил он ему, – здесь, в этой европейской слякоти, вы не поправитесь». Нетерпенье томило и Русю. Мать все время падала в обмороки, отец посматривал на нее холодно-презрительно, скрывая за внешней грубостью глубоко ранимую душу. Анна Романовна наконец-то разрешила привести Инсанахорова и, увидев его, поневоле ахнула.

– Да вы больны! – воскликнула она. – Руся, он ведь у тебя болен.

– Я был нездоров, Анна Романовна, – ответил Инсанахоров, – и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, что родной советский воздух меня восстановит окончательно.

– Да... восстановит! – пролепетала Анна Романовна и подумала: «Боже мой, голос, как из бочки, глаза, как лукошко, скелет скелетом, даже ростом меньше стал, как Пушкин – по плечо Русе... – и она – его жена, она его любит... да это сон дурной какой-то...»

Но любящая мать тотчас же спохватилась.

– Андрон, – проговорила она задушевно, – вы же умный парень и понимаете, что ничего толкового из вашей поездки

не выйдет. Бросили бы вы свою блажь да махнули с Руськой на Багамы? Писать чек, а? И черт с ней, с этой, как она там – СССР – СНГ – ГУС!

– Бог с ней, – тихо, серьезно ответил ей Инсанахоров.

Анна Романовна с минуту смотрела на него, и из краешка ее правого глаза выползла вниз предательская слеза.

– Ох, Андрон, не дай вам бог испытать то, что я теперь испытываю... Преклоняюсь перед вашей непреклонностью, но все же прошу – любите, берегите Русю, как самый драгоценный бриллиант, какой только есть на земле в коллекциях... Нужды вы, кстати, терпеть не будете, пока я жива. Буду посылать вам деньги, продукты, одежду, другие товары гуманитарной помощи.

Роковой день наступил. Отъезд был назначен на двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Владимир Лукич. Он полагал, что застанет у Инсанахорова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали в СССР; отсутствовали также и известные читателю три мерзких личности – Попов, Ерофеев да Пригов (они, кстати, были свидетелями на свадьбе Инсанахорова). «Коммунисты, конечно, очень жестокие правители, но они по крайней мере одно делали правильно: никогда не пускали за границу таких типов, как Попов, Ерофеев да Пригов, чтобы не позорили страну, а маразмировали дома при снисходительном наблюдении КГБ», – подумал мельком, как Леопольд Блум из романа Дж. Джойса «Улисс», Владимир Лу-

кич из романа Евг. Попова «Накануне накануне».

Хозяйка квартиры, где нашел себе пристанище Инсанахоров, встретила Владимира Лукича, прислонясь к дверному косяку. Роза Вольфовна, в принципе не пьющая по соображениям экологии и защиты окружающей среды обитания, в этот раз еле-еле держалась на ногах, печалась в ожидании разлуки. Владимир Лукич задумался снова, на этот раз – о тайнах человеческой природы.

Двенадцать часов уже пробило, и такси уже прибыло, а «молодые» все еще не являлись. Наконец они появились, и Руся вошла в сопровождении Инсанахорова и Михаила Сидорыча. Руся немножко плакала: она оставила свою маму лежащей без сознания, а папу она так и не увидела. Радость охватила ее, когда она разглядела в комнате знакомое лицо Владимира Лукича. Вскрикнув: «Здравствуйте и прощайте, хороший человек!», она бросилась к нему на шею, Инсанахоров тоже его поцеловал. Наступило томительное молчание. Что могли чувствовать эти четыре человека? Что чувствовали эти четыре сердца? Роза Вольфовна, даром что пьяная, поняла необходимость живым звуком прекратить это томление и издала этот звук.

– Собрался опять ваш квартет, – тепло заговорила она. – В последний раз! Так покоритесь же велениям судьбы и помяните добром свое прошлое!

– Так покоримся же велениям судьбы и помянем добром свое прошлое! – как эхо повторили все присутствующие.

– И с Богом! Вперед! На новую жизнь накануне накануне! – вдохновенно продолжила Белая Роза.

– С Богом! Вперед! На новую жизнь накануне накануне! – как эхо продолжили наши персонажи.

– Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года, – Михаил Сидорыч запел было известный романс Вадима Козина, но остановился. Ему вдруг стало стыдно и неловко, как будто бы он запел не здесь, а на поминках. Ведь это их прошлое умирало для возрождения в новой жизни.

– Теперь по русскому обычаю нужно присесть на дорожку, – сказал Инсанахоров.

Все сели. Инсанахоров на диване, Руся подле Инсанахорова, Владимир Лукич подле Руси, Михаил Сидорыч подле Владимира Лукича, Роза Вольфовна подле Михаила Сидорыча. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается, каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый понимал, что в подобной обстановке можно сказать одну лишь пошлость. А пошлость, развязность, ерничанье – это самое гадкое, что только может быть в человеке!

Инсанахоров поднялся первый и перекрестился.

– Прощай, старая Германия, здравствуй, новая жизнь, – еле слышно выговорил он.

Раздались напутственные поцелуи, обещания писать, последние полусдавленные прощальные слова. У подъезда стояли Владимир Лукич, Михаил Сидорыч, Белая Роза, ка-

кой-то посторонний мастеровой в полосатом халате. Вдруг из-за угла вылетела машина «вольво» и с диким скрежетом тормозов, чуть не врезавшись в такси, остановилась.

Все ахнули, но из машины одним прыжком выскочил Николай Романович.

– Застал еще, слава богу! – воскликнул он. – Вот тебе, Русенька, наше последнее родительское благословение.

И, достав маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел его на шею дочери, а также незаметно, как ему казалось, положил ей в карман толстую пачку зеленых долларов.

– А вы, а вы... – обратился он к Инсанахорову, но не смог закончить фразу, махнул рукой и заплакал, этот, в сущности, тоже очень хороший русский человек.

Руся зарыдала и стала целовать его руки. Инсанахоров – тоже.

– Ну, – сказал Николай Романович, отирая слезы, – с Богом! Смотри же, Руся, пиши нам. Авось где-нибудь и свидимся – хоть на том, хоть на этом свете. Поздравляем и желаем!

– Прощайте, папенька, Владимир Лукич, Михаил Сидорыч, Роза Вольфовна, посторонний мастеровой в полосатом халате. Здравствуй, Россия! – сказала Руся.

– Россия! – сказал Инсанахоров.

– Россия! – сказали Владимир Лукич, Михаил Сидорыч и Роза.

– Russland¹³, – сказал посторонний мастеровой в полосатом халате.

¹³ Россия (*нем.*).

XXXIV

Далее, к сожалению, все теряется в морозном тумане, и наше ясное повествование приобретает черты абсолютной размытости.

Вот, например, кто не видел Хельсинки в декабре, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Вечерняя чернота и суровость климата идут Хельсинки, как пестрое солнечное кружево весенних бульваров Парижу, как летняя дымка Лондону, как золото и пурпур осени древней, но вечно юной Москве. Подобно крепким спиртным напиткам, красота Хельсинки и волнует, и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытные души, как обещание близкого, но несбыточного счастья, особенно если это души советских туристов, марширующих по улицам столицы Финляндии вдоль и поперек.

Все в Хельсинки темно, но освещено фонарями, все овеяно дыханием Балтики и все приветливо – особенно маленькие трактиры, особенно в районе порта, недаром один из них носит нежное и возвышенное женское имя «Клава». Громады билдингов и здания исторической застройки стоят легкие и чудесные, как сон молодого языческого бога. Есть что-то сказочное, пленительное в разбросанных там и сям, например на улице Кирьятуонтекианкату, красных гранитных стенах, есть что-то демоническое в суровых скальных усту-

пах, срывающихся в море, как персонажи Калевалы. «Хельсинки уже не тот, то ли дело было в старину, до Зимней войны, когда так весело звучала Сакиярви-полька и мужчины носили шляпы», – скажет вам иногда старожил города, но вы сразу же поймете, что этот простой, немногословный человек, пьющий вместе с вами пиво «Николай Синебрюхов», явно лукавит, скрывая за показной небрежностью истинный патриотизм и потаенную любовь к своей гордой отчизне Суоми.

Короче говоря, кто не видел Хельсинки, тот вообще мало что видел в жизни, если же, конечно, не сидел в это время в тюрьме. Даже наше скудное перо вполне способно передать очарование этого серебристого финского воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного сочленения изящнейших очертаний и тающих красок. Унылому пессимисту не для чего посещать Хельсинки: визит этот будет горек ему при мысли, что и Россия могла бы быть такой же, кабы не захватили ее в 1917 году красные хулиганы, но приятен этот город тому, в ком кипят еще силы, кто верит в Бога и в то, что Он не допустит дальнейших потоков крови, не позволит гранатам, бомбам и минам по-прежнему взрываться слева, справа, снизу и сверху. Эх, хороший город Хельсинки, и люди в нем замечательные – взять того же художника Самоли, телерепортера Рубена или того оживленного господина, который подарил автору «Накануне накануне» в вокзальном ресторане поздней ночью тяжелое пасхальное яйцо из насто-

ящего финского гранита...

Но при чем здесь все это?

А при том, что Руся и Инсанахоров затерялись в морозном финском тумане. Они испытывали значительные затруднения с тем, чтобы напрямик попасть в бывший СССР. У Инсанахорова во время их переезда из Стокгольма на пароме «Силья-Лайн» исчез после его душевной беседы с двумя финско-шведскими цыганами бумажник с деньгами и документами, а у Руси по-прежнему не было въездной советской визы, которую они беспечно надеялись добыть по блату или за умеренную мзду, учитывая репутацию Инсанахорова как народного героя.

Черты лица Руси немного изменились со дня их отъезда из Мюнхена, но выражение этих черт стало совсем другое, спокойное и удовлетворенное. Все тело ее расцвело, попышнело, заматерело, умножилось. У Инсанахорова, напротив, выражение лица осталось то же, и выглядел он вроде бы не так уж плохо, как после болезни, поправился, однако с ним продолжала происходить та странная метаморфоза, истоки которой заметила проницательная Анна Романовна. Он *действительно* стал меньше ростом, и теперь многие принимали его за сына Руси и, лишь приглядевшись к его бороде, делали заключение, что перед ними лилипут.

Без паспорта, в чужой стране... хорошо, что хоть денег у них, благодаря доброте Николая Романовича, было очень много, и они снимали роскошный номер в гостинице «Хос-

пиц», знаменитой тем, что здесь некогда жил немецкий паренек Матюша Руст, приземлившийся на Красной площади Москвы в своем спортивном самолете и оттянувший за это пару лет советской тюрьмы, но прославившийся во всем мире лет эдак на сто.

Они стояли на обледенелом берегу и глядели в сторону Свеаборга.

– Какое унылое место, – заметила Руся. – Как сильно дует с моря. Мне кажется, это слишком холодно для тебя.

– Холодно? – с горькой усмешкой возразил Инсанахоров. – Хорош бы я был русский, если бы холоду боялся, как француз или африканский студент, обучающийся в университете имени Патриса Лумумбы. Ведь она там, наша Родина, – прибавил он, вытянув руку по направлению к востоку. – Вот и тянет оттуда Сибирью.

Руся посмотрела в морскую даль, и ей на секунду почудилось, что там, в том неведомом пространстве, куда устремлена рука Инсанахорова, действительно можно различить среди зимней мглы и эту загадочную Россию, и эту таинственную Сибирь, где люди ездят на собаках и в любое время дня и года пьют спирт, который так и называется – «питьевой».

– Потерпи, – примирительно сказала она, ласково коснувшись его плеча. – Дядя Юкка говорит, что через день-другой все устроится.

– День-другой! – Инсанахоров в отчаянии хлопнул себя кулаком по коленке и вдруг настороженно спросил: – А ты

уверена, что на него можно положиться?

– Еще бы! Ведь он друг нашего Евгения Анатольевича. Они вместе пьянствовали в Москве в годы застоя, когда там правил тиран Брежнев, читали, создавали и распространяли декадентские произведения, которые он переводил на финский язык... Ведь дядя Юкка как переводчик имеет в Финляндии столь же высокую репутацию, как и Роза Вольфовна в Германии...

– Признаюсь, я тоже хорошо знаю дядю Юкку и задал этот вопрос, чтобы укрепить твою уверенность в этом славном человеке. Более того, я был хорошо знаком с его первой и последней женой, гречанкой. Они дюже сильно любили друг друга, но потом она пырнула его ножом и возвратилась в Грецию. Я думаю, что они до сих пор друг друга любят, но... таковы причуды любви... – Он улыбнулся, слепил снежок и швырнул его так далеко, как только мог.

– Вот ты и повеселел, мой милый Андрюша! – не на шутку обрадовалась Руся. И тут же мягко упрекнула его: – Мне кажется, ты в последнее время стал более подвержен унынию, чем раньше. А ведь уныние – смертный грех для православных. Сам посуди – какие воодушевляющие вести идут с Востока! Говорят, что коммунисты, комсомольцы и кагэбэшники стали биржевиками, купцами и бизнесменами, что новые промышленники вкладывают все свои средства в развитие капитализма в России, а сами буквально едят черствый хлеб и пьют водопроводную воду, чтобы только снова

расцвела родная земля.

– Свежо предание, но верится с трудом, – улыбнувшись, процитировал Инсанахоров и добавил: – Черного кобеля не отмоешь добела, как говорил Никита Сергеевич Хрущев про американских империалистов. Я скорее поверю, что рэкетирь, которых так боялась твоя мама, грабя награбленное, перечисляют его безвозмездно в детские дома и приюты для малолетних преступников, чем в то, будто из генетического бездельника-коммуняка может выйти что-то стоящее.

– А я бы не была столь категорична, – робко возразила Руся. – Пусть коммуняки, пусть рэкетирь – время всех обкатает, как гальку на морском берегу...

Она не успела закончить свою мысль.

– Во, бля, красота какая охереннейшая! – вдруг раздался сзади хриплый развязный голос.

– И зачем ты, сука Володька Ленин, отдал Финляндию финнам! – отозвался другой хриплый развязный голос.

– Эх ты, Финляндия, Финляндия! Последний оплот ленинизма! – завопили оба голоса.

Руся и Инсанахоров обернулись и увидели, что по скальному обрыву идут, взявшись за руки, как Кай и Герда из сказки о Снежной королеве, два в доску пьяных советских товарища в пыжиковых шапках и распахнутых дубленках. Они не успели испугаться или удивиться, как «товарищи» мгновенно куда-то исчезли, очевидно, упали беззвучно со скального обрыва вниз.

Инсанахоров мрачно выругался.

– Они не виноваты, – промолвила Руся. – Такими их сделала система.

– Система системой, а всю кровь они мне расшевелили своими наглыми криками, своими партийными харями. Пошли домой! – скривился Инсанахоров.

– Хорошо, но мы ведь еще собирались зайти в универмаг «Штокман», чтобы купить тебе новые брюки, – эти тебе опять велики. Заодно и ботиночки тебе присмотрим в отделе детской обуви, – предложила Руся.

Инсанахоров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

– Успеть бы, – сказал он тихо, чтобы не слышала жена.

Они вышли на заснеженную, продутую всеми ветрами Александринеркату. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих как-то особенно приятно: все кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастья, которым исполнен сам.

– Великий Сашка, – сказал, умилившись, Инсанахоров, когда они проходили мимо памятника царю-освободителю, – если бы тебя не ухлопали нервные недоучки, все было бы совсем по-иному в этом грешном из миров.

К нему явно вернулось хорошее настроение, и Руся была этому бесконечно рада.

Они медленно шли по бульварам. Мелькали уютные огоньки кафе, гостиниц, ресторанов. Увидев округлое, похо-

жее на гриб, здание театра, Руся вдруг вспомнила:

– Послушай, Андрюша, я забыла тебе сказать, может, это тебя развлечет... Сегодня здесь играют спектакль по роману Тургенева «Накануне». Заглянем?

– Это что, гастролы кого-то из советских? Театр Романа Виктюка, сценография Владимира Боева?

– Нет, это местная труппа поставила. Сейчас ведь мода на все русское.

– Но мы же ничего не поймем по-фински, – возразил Инсанахоров.

– А я помогу тебе, если ты не читал романа. Сюжет прост. Представь – Россия, конец XIX века. Русская девушка в Москве влюбляется в болгарского революционера, родину которого поработили турки. Не испугавшись тягот жизни, общественного мнения, оставив привычный круг семьи, друзей, знакомых, она тайно венчается с ним, и они едут на его родину, чтобы вместе бороться с врагами. Но по дороге, в Венеции, он умирает от злой чахотки.

– А она? – чуть вздрогнув, спросил Инсанахоров.

– А она увозит гроб с его телом на родину, чтобы похоронить труп в родной земле. И тут следы ее теряются. Одни говорят, что влюбленная и труп пропали при кораблекрушении, другие – что она примкнула к национально-освободительному движению, описывали даже ее наряд, она ходила вся в черном с головы до пят... Как бы там ни было – она исчезла, и Тургенев не дает ключа к разгадке этой тайны. Ве-

щица, в общем, недурна, хотя, на мой взгляд, весьма скверно написана, на каком-то ломаном русском языке. Я запомнила оттуда такие, например, «перлы»... постой, дай бог памяти... А, вот – они «сели в гондолу – крепко-крепко пожали друг другу руку». И все эти рыдания, заламывания рук – все это довольно глупо. Смешно, но там в финале герои слушают «Травиату», и Тургенев называет эту гениальную оперу пошлой вещью. Очевидно, живя постоянно за границей, он к этому времени окончательно спятил! – вдруг рассердилась она.

– Ну, не надо так строго, – заметил Инсанахоров. – А то ты гневаешься прямо как Достоевский, который в карикатурном виде изобразил старичка Тургенева в «Бесах», – шутиливо поддел он ее.

– А ты... а ты у нас, видите ли, объективист, почти как Хемингуэй, который, кстати, хоть и обожал Тургенева, но все же написал пародию на его «Вешние воды», – отпарировала Руся.

Они посмотрели друг на друга и... расхохотались.

– Ладно, мир, – сказала Руся.

– Мир, – согласился Инсанахоров.

Они поцеловались под фонарем, под падающими снежинками. Руся наклонилась над Инсанахоровым, а он встал на цыпочки.

– И что-то он мне все же напоминает, этот сюжет, который ты мне только что рассказала, – задумчиво промолвил Ин-

санахоров. – А вот что именно – я не могу понять... Русская девушка, революционер, турки... Нет, никак не могу вспомнить...

Руся вся похолодела, поняв, какую оплошность она совершила, рассказав Инсанахорову такую печальную историю. Она начала тихо искать своей рукой руку Инсанахорова, нашла ее, и они крепко пожали друг другу руку.

И лишь тогда, когда они вдруг услышали, что все здание театра трещит изнутри от бешеных аплодисментов и восторженных криков, они поняли, что, увлеченные этим литературным разговором, безнадежно опоздали на спектакль и он уже закончился.

Но это ничуть не огорчило их. Странное веселие овладело ими. Набрав в магазине «Туннели» около вокзала пива, сосисок, сыру и лососины, они отправились в гостиницу пировать, не желая более оставаться на людях.

– Тургенев... А ты помнишь того американского прапра-внучка Тургенева, которого ты, по выражению Евгения Анатольевича, «по лбу... плашмя... хлюп...», – вдруг неожиданно расхохоталась Руся, когда Инсанахоров уже разливал по бокалам пиво.

– А? Что? – Он недоуменно посмотрел на нее, а она, хохоча, уткнулась ему в плечо и чуть было не опрокинула его.

И острая тревога вновь кольнула ее сердце: за последние несколько часов Инсанахоров еще уменьшился.

Комната их выходила окнами на широкий парк, примы-

кающий к вокзалу. Под лунным сияньем блестели стальные рельсы, ведущие в Москву, гудели гудки, на площади, высоко в черном небе сверкал какой-то золотой шар, очевидно – реклама.

Инсанахоров на цыпочках встал перед окном, пытаясь заглянуть за подоконник. Руся посадила его, но не дала ему долго любоваться видом: он вдруг обмяк, устал, начал заговариваться. Она уложила его в постель и, дождавшись, пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какой пацифистской кротостью дышал морозный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим чистым небом, под этими святыми невинными лунными лучами. «О Боже! – думала Руся. – Зачем смерть, зачем разлука, болезнь, слезы? Ужель царство Божие действительно только внутри нас, как утверждал Лев Толстой, а вне нас – вечный маразм и бардак? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? – Она положила голову на сжатые руки. – Он заснул. Он постоянно уменьшается, а я постоянно увеличиваюсь. С чего бы это? Может быть, в наказание за наше счастье, которое мы построили в кредит на костях близких, и теперь должны внести полную плату за нашу вину? А если так, если мы виноваты, – зашептала она с невольным порывом, – дай нам, Боже, дай нам возможность обоим умереть на родных наших полях, а не здесь, в этой уютной, но чужой стране».

– Дядя Юкка! – пролепетал сквозь сон Инсанахоров.

Руся подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и обнаружила, что он еще уменьшился, до размеров детской надувной игрушки.

Она снова подошла к окну, снова овладели ею невеселые думы. Она начала уговаривать самое себя, уверять, что нет веских причин для паники. Она даже устыдилась своей слабости. «Ну и что, что он стал такой маленький? Может, ему так лучше? Ведь это же лучше, чем если бы он помер, как в романе Тургенева, а я бы везла на Родину его гроб? Родина – это Родина. Родина вернет ему и его ум, и его силу, и его натуральные размеры...»

В это мгновение она увидела, как по площади, выписывая ногами кренделя, идет пьяный человек неизвестной национальности, как бы высматривая место, где можно помочиться. «Вот если он помочится на ствол дерева, – загадала она, – все будет хорошо». Пьяный покружил, покружил по площади, а потом подошел к дереву и расстегнул штаны. Руся отпрянула.

XXXV

Она проснулась поздно, с глухой болью в голове и, открыв глаза, увидела, что Инсанахоров уже тоже открыл глаза и в упор смотрит на нее. Руся невольно содрогнулась – он стал совсем крошечным, сантиметров эдак двадцать – двадцать пять длиной.

– Дядя Юкка не приходил? – было его первым вопросом, который он задал уже совершенно кукольным голосом.

– Нет, – была вынуждена ответить она и принялась читать ему вслух свежий номер русской газеты «Беспредел», в котором много говорилось об армяно-азербайджанской войне, о славянских землях и княжествах, о том, что Горбачев основал фонд своего имени и купил дом в США, а Ельцин еще не основал фонда своего имени и не купил дома в США.

Кто-то постучался в дверь.

«Дядя Юкка», – подумали оба, но стучавший проговорил по-английски: «Hi! Hi! May I come in? Morning!»¹⁴

Руся и Инсанахоров переглянулись с изумлением, Инсанахоров спрятался под подушку, Руся пошла открывать, но в комнату, не дождавшись ответа, уже входил какой-то потерянный господин с лукаво поблескивающими глазенками и грязной бороденкой. Он весь сиял, будто именно его только тут и ждали. Инсанахоров осторожно выглянул из-под подушки

¹⁴ «Привет! Привет! Могу ли я войти? Доброе утро!» (англ.)

и сморщился от отвращения.

– А здорово я вас разыграл, ребята? – развязно начал незнакомец, любезно кланяясь Русе и одновременно плюхаясь в кресло. – Вы, поди, думали какой форин¹⁵, а это я, собственной персоной. Помните, мы, кажется, виделись в Москве на какой-то тусовке, а может – в Мюнхене, а может, и вовсе не виделись, но я знаю о вашем существовании. Ваш муж – знаменитость, а я люблю знаменитостей. Я и сам знаменитость. В 60-е я был знаменитым шестидесятником, в 70-е – знаменитым семидесятником, в 80-е – знаменитым восьмидесятником, в 90-е – знаменитым девяностидесятником и так далее. Моя фамилия, Турурум, вам ни о чем не говорит, но я вас знаю. У вас выпить нету? Нету, ну и хорошо, а то нарежешься с утра, весь день комом. Я, знаете ли, вчера узнал, что и вы здесь, знаете ли... Вот... Ну что за город, эти Хельсинки, прямо – граненый алмаз европейского Севера. Одно ужасно – проклятые совки на каждом шагу, уж эти мне совки. Кстати, вы слышали, что Крым объявил о своей независимости? Вам, как поклоннице Василия Аксенова, это должно быть особенно приятно. Во мне и самом славянская кровь кипит. Однако советую вам быть осторожнее; я уверен, за вами наблюдают, опасайтесь провокаций. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный тип и спрашивает: «Ты Ленина читал?» Я послал его куда подальше... А где же Инсанахоров? Я вчера, как сумасшед-

¹⁵ Foreign – иностранец (англ.).

ший, бегал по городу, был в городской библиотеке. Неправда, что русские самый читающий народ. Финны, например, тоже любят читать. И – водку. Финны очень любят русских, хотя тщательно это скрывают, последнюю рубашку русскому отдадут, если у них есть еще одна. Я здесь и в тюрьме был, на меня подумали, будто я украл перчатки в универмаге. Меня привели в тюрьму, а потомпустили. Я изучил тюрьму – вы, может быть, слышали, – я всегда интересовался правами человека и боролся с коммунистическим режимом у себя на кухне в районе метро «Аэропорт». Справедливо сказал Бакунин: «Безбоязненно, твердым шагом пойдем к народу, а там, когда с ним сойдемся, помчимся вместе с ним, куда вынесет буря». Впрочем, он – коммунист. А я всегда был за прогресс, то есть против – Сталина, застоя, бездуховности. Наше поколение – все за прогресс. А каковы немцы-то и американцы, а? Посмотрим, как они выкрутятся из такой геополитической ситуации... Ведь что ни говори, а при коммунистах была стабильность в регионе. Я, впрочем, тоже был коммунист, но я всегда был вне политики, тем более сейчас, когда вакантные места всех духовных пастырей заняты. У меня с властью были чисто духовные разногласия, но я все равно вышел из КПСС, когда это разрешили. Да... Лучше об искусстве. Тут в Москве была конференция по постмодернизму. Дураки все ужасные, особенно Попов, Ерофеев да Пригов. Никто не знает, что такое постмодернизм, но все делают вид, что знают... Дать вам почитать альманах «Метро-

поль», у меня есть, вышел недавно в Совдепии – я теперь так эту страну называю, чтобы не путаться. Я прочитал и честно скажу – ничего нового, крайне низкий художественный уровень, как у короля, которого играет окружение. Не знаю, как вы, а я рад нынешнему бардаку. Мука перемелется – пироги будут. Только вот кровь – это плоховато. Поэтому я и еду через Хельсинки во Францию. Вступлю там назло всем в коммунистическую партию, а потом поеду в Россию с французским паспортом экспортировать обратно революцию. А не выйдет, так снова стану антисоветчик, махну в Калифорнию, я давно обещал Саше Половцу, редактору лос-анджелесской «Панорамы», сочинить чего-нибудь такого идеалистического, а то все пастыри, пастыри кругом, а идеи – нету. Стране *идея* нужна, нужны философы, политологи! Но как мы все-таки отстали и где же все-таки наш Инсанахоров? Я жажду личного знакомства и с этим духовным пастырем.

– Мой муж вышел прогуляться, – сказала Руся, почти не вслушиваясь в эту бессмысленную трескотню.

– Надолго?

– Не знаю, очевидно, на весь день.

Гость воровато подвинулся к ней.

– Тогда – может быть... надеюсь, вы без предрассудков? Мы, русские, должны как можно ближе быть друг к другу... Соборность, ведь это не пустой звук для нас, да?

И он положил на ее пышную грудь свою немытую руку.

Русе на секунду стало страшно – вдруг он ее изнасилу-

ет на глазах беспомощного Инсанахорова? Но, ощутив свои бицепсы, трицепсы, переведя взгляд на дряблое похотливое лицо посетителя, она презрительно расхохоталась.

От громовых раскатов этого хохота незваного гостя как ветром вымело. Руся даже больно ударила ногу, когда давала ему пинка, и он, распластавшись, как жаба, летел по коридору, как поверженный конькобежец. Пока не шандарахнулся головой о кадку с пальмой, столь чуждо глядевшейся в этих северных широтах. После чего пустился наутек с криком: «А мы зато в Расее живем, и нам всякий эмигрантишка не указ!»

– Вот, – с горечью промолвила она, запирая двери и обращаясь к подушке, за которой скрывался Инсанахоров. – Не выдержали испытания свободой эти либеральные господа, окончательно лишились последних остатков своего слабого разума! Иной и говорит складно, а прогрессист он или ретроград – неважно, ибо в душе такой же говнюк, как этот господин.

Из-за подушки раздался какой-то писк. Руся наклонилась, вслушалась и различила:

– Это – КГБ, КГБ!.. Все кругом – КГБ. И постмодернизм – выдумка КГБ! Их нужно побивать, всех этих циников, острящих по поводу духовного папшества...

Она не стала спорить с мужем. Ее гораздо больше интересовал он, чем КГБ, постмодернизм или же все эти последовательно обосравшиеся поколения. Она села подле него,

снова взяла «Беспредел». Но он закрыл глаза и лежал неподвижно, голенастый, большеголовый, завернувшийся в носовой платок. Руся взглянула на него, и внезапный страх заземил ей сердце.

– Андроша... – начала она.

Он встрепенулся:

– А? Что? Дядя Юкка приехал?

– Нет еще... но, может быть, ты хочешь что-нибудь покушать? Куриного бульончика, йогуртика или яичечко?

– Не сюсюкай со мной, как с младенцем, – пропищал он. – Я, пожалуй, выпью треть стаканчика подогретого пива, чтобы забыться сном, и поем немного шведского сухого хлеба. А вечером, если хочешь, пойдем в театр, если сегодня опять будут давать «Накануне». Разбередил меня, по совести сказать, твой рассказ об этом произведении.

Прошло два часа. Угостившись пивом, Инсанахоров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Руся не отходила от него; она уронила газету на колени и не шевелилась.

– Отчего ты не спишь? – спросила она его наконец.

– Я думал, что ты спишь, и мы тогда не услышим дядю Юкку. Разбуди меня тотчас, как он придет. Если он скажет, что все готово, мы тут же садимся в поезд.

– Поезд будет вечером, – отозвалась Руся.

– Что этот негодяй болтал про муку, пироги и кровь? – бормотнул Инсанахоров, засыпая. – Неужели нравствен-

ность так низко упала на родине, пока меня там не было? Надо, надо скорее ехать туда. Терять времени нельзя. В Москву! В Москву!

Он заснул, и тихо стало в комнате. Руся прислонилась головою к спинке кресла, долго глядела в окно. Погода испортилась: ветер поднялся, завьюжило, запуржило. Большие брюхатые черные тучи неслись по небу, прохожие подняли воротники, золотой шар раскачивался в отдалении, того и гляди сорвется, лопнет, рассыплется стеклянными брызгами, ударит кого-нибудь по голове. Руся закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей казалось, что она плывет в лодке по Штарнбергскому озеру с какими-то незнакомыми людьми разных национальностей и вероисповеданий. Они молчат и сидят неподвижно; лодка подвигается сама собою. Русе не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а озеро ширится, берега пропадают, и вот это уже не озеро, а широкая белая ледяная равнина, насквозь продуваемая ветром. Что-то величественное, гремящее, грозное поднялось со дна ее души; неизвестные спутники ее вдруг вскакивают, оскалившись, кричат, машут руками друг на друга, хватаются за оружие... Руся частью узнает их лица: ее отец, Владимир Лукич, Михаил Сидорыч, Инсанахоров, Евгений Анатольевич, Попов, Ерофеев, Пригов, неизвестный господин Турурум между ними, но также и мириады других людей, разбившись на

группы, повторяя имена каких-то своих богов и божков, потрясая вымпелами, грозно подступают друг к другу, жажда крови и победы своих идей во что бы то ни стало, желая утвердить свою правду на земле, хоть бы взорвись эта земля вся к чертовой матери, но только чтобы их ум, их сила взяли верх. Но звучит музыка, какой-то плотный занавес закрывает изображение, как будто кончился фильм или спектакль подошел к своему закономерному финалу... Руся осматривается: по-прежнему все белым-бело вокруг; но это уже Россия, снег, снег, бесконечный снег. И она уже не в лодке, она едет в санях; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький заячий тулупчик. Руся вглядывается: этот мальчик так похож на Инсанахорова, ее бедного мужа. Страшно и сладко становится Русе. «Мы умерли или мы живы?» – думает она.

– Андрюша, сыночек мой бедненький! Куда это мы с тобой едем?

Мальчик не отвечает и завертывается в свой тулупчик; он зябнет, ему хочется молочка, хочется послушать бабушкину сказку, поиграть на ковре под старинными часами, маятник которых стучит тяжело, с каким-то печальным шипением. Русе тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Поверженные кресты, поверженные рубиновые звезды, высокие белые башни девятиэтажек с пустыми глазницами окон... «Мамочка, это Москва?» – тихо спрашивает мальчик, и невыносимая

боль охватывает Русю. «Будьте вы прокляты, – шепчет она, – будьте вы прокляты, все взрослые, умные, глупые, уверенные мерзавцы, забывшие, что были детьми, нежно гукали, лежа в колыбельке, боялись темноты, играли в песочке, смешно выговаривали первые слова! Разве не вам, негодяи, сказано было, что ни одна ваша вонючая идея не стоит слезинки ребенка. «Мамочка, мамочка, Руся», – слышится ей, и эхо разносит слабый звук детского голоса над пустыней, над бездной.

«Руся!» – раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсанахоров, еле заметный на подушке, раскрывал рот, но она уже не могла разобрать ни слова, только видела, что он все время взмахивает микроскопическими ручонками. Она с криком упала на колени и приблизила к нему свою ушную раковину.

– Все кончено, – едва разобрала она гулкий шепот. – Прощай, моя бедная Руся! Прощай, моя бедная Родина!

В это мгновение на пороге двери показался широкоплечий бородатый человек в меховой куртке и финской шапке с ушами.

– Дядя Юкка! – воскликнула Руся. – Поспешите, ради бога, ведь он совсем исчезнет! Боже, Боже, еще вчера мы гуляли, еще недавно он говорил со мной.

Вошедший отстранил ее, наклонился над подушкой и начал делать пассы руками.

– Perkellsaatanahavettymalanta!¹⁶ Мгновенно остановись в своем отступательном развитии. Все идет по плану! Ты сам все это изобрел! Так слушай же музыку своего изобретения! Мина! Мина! Mine!¹⁷

И яркое дискретное свечение в районе подушки озарило комнату, перед тем как Руся упала в обморок.

¹⁶ Нецензурное (*фин.*).

¹⁷ Мина (*англ., нем., фр., фин.*).

XXXVI

Через час в той же комнате у окна стоял дядя Юкка, так и не снявший свою меховую куртку; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Руся. В спичечном коробке, зарывшись в вату, устроился микроскопический, но веселый Инсанахоров.

Лицо Руси выражало спокойную уверенность. Она еще более заматерела. Мощные груди ее были покрыты, как холмы, толстым шерстяным свитером, икры едва помещались в красивые саамские унтайки, шитые бисером.

Она дочитывала письмо, которое только что получила от матушки.

В нем Анна Романовна звала свою дочь обратно в Мюнхен, жаловалась на их с Николаем Романовичем одиночество, кланялась Инсанахорову, осведомлялась о его здоровье, просила их приезжать вместе, не стесняться.

Дядя Юкка, человек суровый, грубый, смелый, действовал, как это теперь выяснилось, точно по плану, разработанному Инсанахоровым. Блестящий филолог и интеллектуал, ведущий свою родословную из маленькой деревни на Карельском перешейке, откуда его предков выпихнули советские большевики, он теперь по случаю звериного оскала капитализма во всех странах вынужден был служить переводчиком и обслуживать русских фирмачей, отчего и знал все правильные ходы и выходы в этой абсолютно несправедливой

жизни.

Дядя Юкка объяснял:

– Да, смешно сказать, но теперь на вашей родине еще больший бардак, чем при коммунистах. Раньше все было гораздо проще: сунул кому надо двухкассетник – и все о'кей! Теперь же – все, что я смог сделать, это достать визу. Причем только вам, и не спрашивайте, как мне это удалось. Три дня я не выходил из сауны, распивая черт знает с кем... – В доказательство своих слов он слегка пошатнулся. – Черета коррумпированных харь прошла передо мною, и вы видите, что я еле-еле успел. Еще секунда, и наш друг превратился бы в эмбриона, а потом и вовсе перестал бы существовать в этой реальности...

– Неужели все это действительно было запланировано? – все еще не верила Руся.

– Конечно. Даже кража паспорта. Понимаете, мне трудно вам все толком объяснить, я ведь практик, а не теоретик. Андрон толковал мне про культ Озириса в Древнем Египте, про инкарнацию... что он исчезнет, чтобы возродиться в новой России новым Инсанахоровым. Говорил, что в условия акции входит ваше неведение, но что я ни в коем случае не должен пропустить *контрольный критический срок*... Что он сам и есть та *мина*, которую он изобрел... Как это следует трактовать, я не знаю – ведь я, можно сказать, простой финский колхозный парнишка, которого сгубили московские эстеты. – Он улыбнулся. – Я знаю только то, что я знаю. По-

лагаю в глубине души, что Инсанахоров – обыкновенный гений, а вовсе никакой не политик. К тому же романтичен, как мальчишка... Любит рисковать... План – планом, а что было бы, если б тот парень в сауне не вырубился, а продолжал пить? Я бы пропустил контрольный срок, и где бы тогда оказался Инсанахоров, вы представляете?

– Не представляю, – как эхо отозвалась Руся.

– Ладно, теперь слушайте сюда, – посерьезнел дядя Юкка, выучивший русский язык в московской пивной «Яма», что на углу Столешникова переулка и Пушкинской улицы, – у нас слишком мало времени, чтобы философствовать. Виза у вас настоящая, но черт знает, что придет в голову этой вечно пьяной гвардии петербургского адмирала Собчака, который находится в весьма напряженных отношениях с Верховным Главнокомандующим Ельциным. Держите Андрона в кармане, играйте спичечным коробком, как будто вы – завзятая курильщица. Но если почувствуете опасность, выньте его из коробка и спрячьте... сами знаете куда, не мне учить женщину, куда она может спрятать возлюбленного... – Он деликатно кашлянул в кулак и высморкался. – Надеюсь, этим молодчикам не придет в голову подвергнуть вас гинекологическому досмотру или насилию. А если это случится, им же будет хуже. Ведь он – мина. Понятно?

Руся не тотчас ему ответила, ошеломленная всем услышанным.

– Понятно, – наконец выдавила она из себя.

Дядя Юкка ушел по каким-то своим делам, а она опустилась на колени, чтобы помолиться.

Но молиться она не смогла, и ее можно было понять. «Каждый из нас виноват уже тем, что живет, – думала она, – и нет такого великого мыслителя, великого изобретателя, великого благодетеля человечества, который, в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что только он имеет право выжить...» Как сложен мир!

В тот же вечер из гостиницы «Хоспиц» вышли два человека, закутанные в теплые одежды. Это были Руся и дядя Юкка.

Они подошли к поезду «Лев Толстой», и Руся заняла свою полку в двухместном купе спального вагона. Она украдкой выглянула в окно. Дядя Юкка стоял, опершись на фонарь, и плакал, не стыдясь своих слез.

– Прощайте, друзья, – прочитала она по его губам.

После чего финский добряк отвернул крышечку у пластмассовой фляжки с водкой, сделал добрый глоток и исчез во вновь разыгравшейся метели.

В течение ночи метель еще более усилилась, непогода свирепствовала со страшной силой, и опытные путешественники обеих столиц качали головами, когда слышали, что на перегоне между финской станцией Вайникалла и пока еще советским Выборгом случилось какое-то дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой значительные последствия.

* * *

Месяца через три после отъезда Руси из Хельсинки Анна Романовна получила от нее в Мюнхене странное письмо без подписи, напечатанное на пишущей машинке с западающими буквами.

«СССР больше нет. СНГ тоже нет. Есть опять Россия. Перевели часы совсем куда-то. Россия теперь не красная, а она теперь вся – белая. По России ездят сани. В них сидят дети. Фабрики, заводы больше не дымят. Паровозы засыпаны снегом. Пароходы вмерзли в лед. Почта, телеграф, телефон не работают. В России тихо. В России белое утро. В России живут счастливые люди».

* * *

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше от Руси. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Романович ездил в Москву и Хельсинки после окончательного краха коммунизма и установления в России новой стабильности. Никаких следов ни в Москве, ни в Хельсинки он не сыскал. Руся и Инсанахоров точно сквозь землю провалились, хотя именем Инсанахорова была названа основная площадь в Дмитрове бывшей

Московской области, городе, который стал теперь столицей России. В русском консульстве Хельсинки о них тоже ничего не знали и, подняв документы пятилетней давности, сообщили, что виза Русе Николаевне Инсанахоровой не выдавалась, а самому Инсанахорову – тем более. Потому что они прекрасно знали фамилию этого национального героя еще тогда, в мрачные годы конца стагнации в СССР, и непременно помогли бы ему, чем смогли, даже если это грозило бы им неприятностями по службе.

Никто ничего не мог сказать и о дяде Юкке. Одни считали, что он помирился со своей прежней женой и живет в Греции на острове Порто-Гидро, другие клятвенно утверждали, что, как только между Россией и другими странами Европы установилось безвизовое пересечение границ, дядя Юкка уехал в Сибирь, женился на тунгуске Наташе и теперь живет за Полярным кругом, выращивая помидоры, которыми торгует на рынке города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан, а все вырученные деньги перечисляет неизвестно куда.

Ходили темные слухи, что несколько лет назад в поезде «Лев Толстой», следовавшем из Хельсинки в Москву, был сильный взрыв. По другим, более достоверным сведениям, взрыва не было, а в поезде ехала красивая молодая мощная женщина, которая так двинула в глаз пристававшему к ней в ночной тишине ухажеру, что тот издал постыдный звук, от которого поезд остановился и непременно сошел бы с рельс,

если бы не искусство машиниста.

Нашлись очевидцы, которые рассказывали, что с этого поезда на каком-то полустанке близ Твери сошла женщина, описывали даже ее наряд, она вся была в черном с головы до пят.

Некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в районе озера Волго, у истоков великой русской реки Волга, где она воспитывала мальчика, служила учительницей в начальных классах деревенской школы, жила скудно, лишь время от времени получая денежные переводы и посылки с консервированными помидорами. Женщины жалели ее молодость, красоту, но завидовали ей, что она получает алименты, а они – нет. Сына ее звали Андроном. Он вечно что-то изобретал, взрывал, ходил в садах и шишках, рано научился читать и рано пошел в школу. Как бы то ни было, и Руся, и Инсанахоров исчезли навсегда и безвозвратно. Бывает и так в жизни, бывает, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как будто это имеет какое-то значение. Ведь не нами сказано, но нами будет повторено, что нет ничего нового под луной и, стало быть, жизнь вечна, нравится это вам или не нравится.

* * *

Что, в свете последней аксиомы, стало с остальными ли-

цами нашего рассказа?

Анна Романовна еще жива; она очень постарела, по-прежнему много жалуется, но уже теперь гораздо меньше грустит и нисколько не страшится смерти, потому что твердо уверена: как только она умрет, то тут же встретится с Русей, Инсанахоровым, и ей, может быть, даже удастся еще поныть внуков в другом измерении. В связи с этим она забросила чтение восточных философов, а только смотрит по телевизору модный стопятидесятисерийный казахский фильм «Бедняки тоже люди», скучая, что фильм этот, как и жизнь, никак не кончается.

Николай Романович тоже поседел, постарел и тоже расстался... со своей подружкой-немкой, которая возвратилась на территорию бывшего СССР, вышла замуж за одного грузина, который, как оказалось, и ранил ее когда-то в припадке ревности. Но натура эмансипированной искательницы приключений заставила ее уйти от мужа, и она стала первой женщиной-президентом немецкой республики немцев Поволжья, раскинувшейся на изрядной территории развалившейся империи. Перед этим она пыталась вернуться к Николаю Романовичу, но тот стал уже не такой дурак, как раньше, тем более что он последней, почти тютчевской любовью полюбил наконец Анну Романовну, и они жили, как он выражался *in accordance*¹⁸, смело шли к смерти *hand and hand*

¹⁸ В согласии (*англ.*).

with one another¹⁹.

Фирма Бориса Михайловича Апельцина-Горчакова банкрутировалась, и ему грозило заключение в «Матросской Тишине» за злостную неуплату долгов. Но он как-то от тюрьги отмотался и, будучи человеком с темпераментом, женился на Сарре, после чего они уехали в Израиль, где уже жили к тому времени приемные родители Сарры. Но в Израиле им не понравилось, потому что там оказалось слишком много евреев, и они все-таки рискнули вернуться на родину Бориса Михайловича, где и живут теперь близ Туруханска, в поселке Курейка, бывшем месте ссылки Иосифа Сталина, куда его когда-то сослало царское правительство, да плохо, видать, сторожило. Там они держат мемориальный отель «У четырех друзей» (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), ставший местом паломничества прокоммунистически настроенных элементов всего мира, благодаря прекрасной кухне, северному сиянию и круглогодичному купанию в проруби за бутылку водки.

Владимир Лукич сначала тоже никак не мог найти правильного места в этой жизни. Он все курил, курил да писал. Ученая публика обратила внимание на две его статьи – «Лучше больше, чем меньше» и «Как нам реорганизовать коммунизм, чтобы эту вредную энергию обратить на пользу человечества». Хорошие статьи, жаль лишь, что все они изобиловали нецензурными словами, это он зря. Но потом Влади-

¹⁹ Рука об руку друг с другом (*англ.*).

миру Лукичу все опять наскучило, он опять умер и вновь возродился, став монахом православной конфессии. Когда какой-то досужий репортер посещает его келейку и спрашивает, не обидно ль ему, что он так и не стал окончательным вождем всего угнетенного человечества, старец мягко улыбается, крестится и отвечает: «Я им уже дважды был».

А с Розой Вольфовной случилась удивительная история: она настолько вжилась в русский язык, что стала плохо писать и говорить по-немецки. Ей пришлось переориентироваться, и сейчас она переводит все наоборот – с немецкого на русский, благо, что спрос большой, ибо культура книгопечатания, равно как и вообще культура, в современной России достигла небывалых высот.

Зато с Михаилом Сидорычем все в порядке. Он теперь в Америке, организовал фонд своего имени и считается одним из ведущих специалистов-политологов по новой Восточной Европе. Злые языки болтают, что он лишь «делает бабки», в политике смыслит как свинья в апельсинах, что прогнозы его смехотворны и он потому никогда не ездит на территорию бывшей страны СССР, что боится, как бы ему там не набили морду, но на то они и есть злые языки, чтобы клеветать на хорошего человека. И от американцев, и от англичан у него пропасть заказов, он страшно богат и красив. В последнее время много шума наделала одна его инициатива – он купил участок на Луне и выстроил там точную копию центра Москвы шестидесятых – восьмидесятых годов XX сто-

летия. С Кремлем, Дворцом съездов, Лубянкой, Лефортовской тюрьмой, Белым домом, пивной «Яма» и стадионом в Лужниках. Говорят, что теперь он накачивает в полусферу, накрывающую город, кислород и будет пускать туда всех желающих за большие деньги, а сам будет президентом этого лунного города.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.